

ИНСТИТУТ МАРКСА-ЭНГЕЛЬСА-ЛЕНИНА

при ЦК ВКП/б/



**К.МАРКС**

**НИЦЕТА ФИЛОСОФИИ**

---

ОГИЗ • ГОСПОЛИТИЗДАТ

1941

К. МАРКС

# НИЦЦЕТА ФИЛОСОФИИ

—

ОТВЕТ НА «ФИЛОСОФИЮ НИЦЦЕТЫ»  
г. ПРУДОНА

## ОТ ИНСТИТУТА МАРКСА—ЭНГЕЛЬСА—ЛЕНИНА при ЦК ВКП(б)

Произведение Маркса «Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г. Прудона», вышедшее в свет в июле 1847 г., было написано в предгрозовой атмосфере революции 1848 г., в период борьбы за организацию передовых людей рабочего класса в коммунистическую партию. Оно было направлено против французского мелкобуржуазного социализма Прудона. В этой работе Маркс дает уничтожающую критику взглядов Прудона, которая бьет также и по воззрениям его последователей.

«Нищета философии», как указывает Энгельс в предисловии 1884 г., была написана в то время, когда у Маркса окончательно уже сложились его «новые исторические и экономические воззрения». Основные черты диалектического материализма, материалистического понимания истории, выдвинутые Марксом и Энгельсом в «Немецкой идеологии» (1845—1846), получили в «Нищете философии» свое дальнейшее развитие.

В этой работе Маркс научно обосновывает неизбежность грядущего освобождения пролетариата, противопоставляя прудонизму теорию пролетарского, научного социализма. Маркс подвергает резкой критике идеалистические представления Прудона о путях общественного развития, выясняет значение классовой борьбы как закона движения антагонистических обществ и революционную роль пролетариата.

Маркс вскрывает мелкобуржуазную, реакционно-утопическую сущность учения Прудона, рассматривавшего частную собственность на средства производства и другие принципы, на которых зиждется буржуазное общество, как вечные принципы. Прудон стремился осуществить свои «реформаторские планы», не затрагивая устоев буржуазного общества, отстаивая сохранение и укрепление мелкой собственности. Он видел лишь нищету и эксплуатацию масс, не понимая их корней в обществе, не замечая пролетариата как революционной, разрушительной силы буржуазного строя.

В своей работе Маркс показывает, как пролетариат, борясь против эксплуататоров, сплачивается, превращается из «класса в себе» в

«класс для себя». Классовая борьба, пишет Маркс, «будучи доведена до высшей степени своего напряжения, есть полная революция». Условием освобождения пролетариата является уничтожение всех классов. Лишь тогда, «когда не будет больше классов и классового антагонизма, *социальные эволюции* перестанут быть *политическими революциями*. До тех же пор, накануне каждого полного переустройства общества, последним словом социальной науки всегда будет:

*«Битва или смерть; кровавая борьба или уничтожение. Такова неотразимая постановка вопроса» (Жорж Занд)».*

Беспощадная война с буржуазией, пролетарская социалистическая революция — таков основной вывод «Нищеты философии», противопоставившей жалкому утопическому и реакционному лепету Прудона ясную, строго научную пролетарскую систему взглядов.



Перевод «Нищеты философии» сверен с французскими изданиями 1847 и 1896 гг., а также и с немецким изданием 1892 г., в котором имеются замечания Энгельса к тексту. При этом использованы все переводы отдельных мест из «Нищеты философии», цитируемые в работах Ленина и Сталина.

В настоящем издании помещены предисловия Энгельса (1884 и 1892) к первому и второму немецким изданиям «Нищеты философии». В виде приложения даны: письмо Маркса к Анненкову (1846), которое было впервые напечатано в сборнике «М. М. Стасюлевич и его современники в переписке» (Петербург 1912, т. III, стр. 455—465); статья Энгельса «Прудон» (1848); более поздний отзыв Маркса о Прудоне — письмо редактору «Социал-Демократа» Швейцеру (1865).

Редакцией внесены в текст исправления мелких неточностей в указании страниц цитируемых Марксом отрывков из произведений других авторов. Слова, заключенные в квадратные скобки, принадлежат редакции.

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ

Настоящее произведение было написано зимою 1846—1847 гг., когда Маркс окончательно выработал основные принципы своих новых исторических и экономических воззрений. Незадолго до того появившаяся «*Système des Contradictions économiques ou Philosophie de la Misère*» [«Система экономических противоречий, или философия нищеты»] Прудона дала ему повод развить эти основные принципы и противопоставить их взглядам человека, которому предстояло занять с этого времени самое видное место среди французских социалистов той эпохи. С того времени, когда оба они в Париже часто проводили целые ночи в спорах по экономическим вопросам, пути их расходились все больше и больше; сочинение Прудона доказало, что теперь уже между ними лежит непроходимая пропасть, игнорировать которую тогда стало уже невозможно, и Маркс в этом своем ответе констатировал окончательный разрыв.

Общий отзыв Маркса о Прудоне читатель найдет в помещенной вслед за этим предисловием статье, появившейся в 1865 г. в №№ 16, 17 и 18 берлинского «Социал-Демократа». Это была единственная статья, которую Маркс написал для этой газеты; обнаружившиеся вскоре попытки господина фон Швейцера направить газету по феодальному и правительственному руслу вынудили нас уже через несколько недель публично отказаться от сотрудничества в ней.

Для Германии предлагаемое произведение имеет именно в настоящий момент такое значение, какого сам Маркс никогда не предвидел. Мог ли он знать, что, направляя свои стрелы в Прудона, он попадет в кумира современных карьеристов — Родбертуса, которого Маркс в то время не знал даже по имени?

Здесь не место подробно останавливаться на отношениях между Марксом и Родбертусом; случай для этого мне, вероятно, скоро представится. Замечу здесь только, что когда Родбертус обвиняет Маркса в том, что последний его «ограбил» и, «не цитируя, широко использовал в своем «Капитале» его произведение «Zur Erkenntnis»», то в азарте он доходит до клеветы, объяснимой лишь раздражительностью непризнанного гения и его удивительной неосведомленностью в том, что происходит за пределами Пруссии, особенно же в социалистической и экономической литературе. Ни эти обвинения, ни упомянутое произведение Родбертуса никогда не попадались Марксу на глаза; из сочинений Родбертуса он вообще был знаком только с его тремя «Социальными письмами», да и то никак не раньше 1858 или 1859 г.

С бóльшим основанием Родбертус утверждает в этих письмах, что «прудоновская конституированная стоимость» открыта им еще до Прудона; но и тут он, конечно, снова ошибочно тешит себя тем, будто он *первый* сделал это открытие. Следовательно, он, во всяком случае, также подвергся критике в нашей книге, и это заставляет меня вкратце остановиться на разборе его «основного» сочинения «Zur Erkenntnis unserer staatswirtschaftlichen Zustände», 1842 [«К познанию нашего государственно-хозяйственного строя»] ввиду того, что, кроме содержащегося в нем (опять-таки бессознательно) вейтлинговского коммунизма, оно предвосхищает также Прудона.

В той мере, в какой современный социализм, независимо от направления, исходит из буржуазной политической экономики, он почти без исключения примыкает к теории стоимости Рикардо. Из обоих положений, которые Рикардо провозгласил в 1817 г. на первых же страницах своих «Principles» [«Начал политической экономии и податного обложения»]: 1) что стоимость всякого товара определяется единственно и исключительно количеством труда, необходимого на его производство, и 2) что продукт всего общественного труда делится между тремя классами: землевладельцами (рента), капиталистами (прибыль) и рабочими (заработная плата), — из этих обоих положений в Англии уже с 1821 г. делались социалистические выводы, и притом подчас с такой остротой и решительностью, что литература эта, в настоящее время почти совершенно забытая и в большей своей части вновь открытая лишь Марксом, оставалась непревзойденной до появления «Капитала». Но об этом в другой раз. Когда поэтому Родбертус в 1842 г., в свою очередь, сделал социа-

листические выводы из вышеприведенных положений, то для немца это было тогда, конечно, весьма значительным шагом вперед, но сойти за новое открытие сие могло разве только в Германии. В своей критике Прудона, страдавшего таким же самомнением, Маркс показал, как мало нового было в таком применении теории Рикардо.

«Кто хоть мало-мальски знаком с развитием политической экономии в Англии,—говорит Маркс,—тот не может не знать, что в разное время почти все социалисты этой страны делали *уравнительные* (т. е. социалистические)<sup>1</sup> выводы из рикардовской теории. Мы могли бы указать г. Прудону на «Политическую экономию» Гопкинса<sup>2</sup>, 1822; на сочинения: Вильяма Томпсона «An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth, most conducive to Human Happiness», 1824 [«Исследование принципов распределения богатства, вернее всего ведущих к человеческому счастью»]; Т. Р. Эдмондса «Practical, Moral and Political Economy», 1828 [«Практическая, моральная и политическая экономия»], и т. д., и т. д. и еще четыре страницы названий таких работ. Приведем слова одного только английского коммуниста, г. Брэя. Мы выпишем главные места из его замечательного произведения «Labour's Wrongs and Labour's Remedy», Leeds 1839 [«Бедствия рабочего класса и средства исцеления от них»]. Одних только цитат из Брэя, приведенных далее Марксом, достаточно для устранения значительной части претензий Родбертуса на приоритет.

В то время Маркс еще ни разу не бывал в читальном зале Британского музея. Кроме книг парижской и бруссельской библиотек и моих книг и выписок, он просмотрел только те книги, которые можно было достать в Манчестере во время нашей совместной шестинедельной поездки в Англию летом 1845 г. В 40-х годах, следовательно, литература, о которой идет речь, отнюдь не была еще так недоступна, как теперь. И если она все-таки оставалась все время неизвестной Родбертусу, то он этим обязан исключительно своей прусской провинциальной ограниченности. Он подлинный основатель специфически прусского социализма и таковым, наконец, теперь признан.

Однако Родбертуса не оставляли в покое даже в его любезной Пруссии. В 1859 г. появилась в Берлине книга

---

<sup>1</sup> Слова, заключенные в скобки, в тексте «Нищеты философии» отсутствуют.— *Ред.*

<sup>2</sup> Энгельс ошибочно исправил «Гопкинс» на «Годскин». — *Ред.*

Маркса «Zur Kritik der politischen Oekonomie, erstes Heft») [«К критике политической экономии, первый выпуск»]. Там в числе возражений экономистов по адресу Рикардо вторым приведено следующее — стр. 40:

«Если меновая стоимость продукта равна содержащемуся в нем рабочему времени, то меновая стоимость рабочего дня равна его продукту. Или заработная плата должна быть равна продукту труда. Между тем в действительности имеет место обратное». Маркс делает к этому следующее примечание: «Это возражение, приводимое против Рикардо буржуазными экономистами, впоследствии было подхвачено социалистами. Предполагая теоретическую верность формулы, они обвиняли практику в противоречии с теорией и приглашали буржуазное общество практически осуществить мнимый вывод из его теоретического принципа. Таким способом, по крайней мере, английские социалисты обратили формулу меновой стоимости Рикардо против политической экономии». В том же примечании Маркс ссылается на свою книгу «Misère de la Philosophie» [«Нищета философии»], которая в то время была еще повсюду в продаже.

Родбертус имел, следовательно, сам полную возможность убедиться, были ли действительно новы открытия, сделанные им в 1842 г. Вместо этого он продолжает постоянно возвещать о них и считает их столь непревзойденными, что ему даже в голову не приходит, что Маркс мог самостоятельно сделать выводы из Рикардо с таким же успехом, как это сделал сам Родбертус. Где там! Маркс «ограбил» его, — его, которому тот же Маркс предоставил все возможности для того, чтобы убедиться, что задолго до них обоих эти выводы уже были высказаны в Англии, по крайней мере, в такой грубой форме, какую они еще сохраняют у Родбертуса!

Вышеизложенное и представляет простейшее социалистическое применение теории Рикардо. Такое применение во многих случаях приводило к взглядам, идущим гораздо дальше, чем взгляды Рикардо на происхождение и на природу прибавочной стоимости, в числе других и у Родбертуса. Но, не говоря уже о том, что все достигнутое им в этом отношении было по меньшей мере так же хорошо выражено уже до него, он, подобно своим предшественникам, страдает тем, что некритически заимствует экономические категории — труд, капитал, стоимость и т. д. — в их грубой форме, перешедшей по наследству от экономистов и сколь-



звущей по поверхности явления, не исследуя содержания этих категорий. Этим он не только отрезает себе всякий путь к дальнейшему развитию, — в противоположность Марксу, впервые сделавшему нечто из этих положений, о которых твердят вот уже 64 года, — но и открывает себе, как увидим ниже, прямой путь к утопии.

Указанное применение теории Рикардо, — что рабочим как единственным действительным производителям принадлежит весь общественный продукт, *их* продукт, — ведет прямо к коммунизму. Но, как указывает Маркс в вышеприведенных строках, в экономическом смысле этот вывод формально ложен, так как представляет простое приложение морали к политической экономии. По законам буржуазной экономики наибольшая часть продукта *не* принадлежит рабочим, которые его произвели. Когда мы говорим: это несправедливо, этого не должно быть, — то это не имеет ничего общего с политической экономией. Мы говорим лишь, что этот экономический факт противоречит нашему нравственному чувству. Поэтому Маркс никогда не основывал своих коммунистических требований на таких доводах, а основывал их на неизбежном, принимающем на наших глазах ежедневно все большие размеры, крушении капиталистического способа производства; он только говорит о том простом факте, что прибавочная стоимость состоит из неоплаченного труда. Но что неверно в формальном экономическом смысле, может быть верно в всемирно-историческом смысле. Если нравственное сознание массы объявляет известный экономический факт несправедливым, как в свое время рабство или барщину, то это есть доказательство того, что этот факт сам пережил себя, что появились другие экономические факты, в силу которых тот факт стал невыносимым и несохранимым. Позади формальной экономической неправды может быть, следовательно, скрыто истинное экономическое содержание. Здесь не место более подробно говорить о значении и истории теории прибавочной стоимости.

Но из теории стоимости Рикардо можно, кроме того, делать еще и другие выводы, и их делали. Стоимость товаров определяется необходимым для их производства трудом. А между тем в нашем грешном мире товары продаются то выше, то ниже своей стоимости, и притом не только вследствие колебаний, вызываемых конкуренцией. Норма прибыли имеет такую же тенденцию сводиться к одному уровню для всех капиталистов, как цены товаров имеют тенденцию сводиться посредством спроса и предложения к их трудовой

стоимости. Но норма прибыли исчисляется по отношению ко всему капиталу, вложенному в промышленное предприятие. А так как в двух различных отраслях производства годовой продукт может воплощать одинаковые количества труда и представлять, следовательно, равные стоимости при одинаковом уровне заработной платы, причем, однако, капиталы, авансированные в одной отрасли промышленности, могут быть, и часто бывают, вдвое или втрое больше, чем в другой, то закон стоимости Рикардо вступает здесь в открытое уже самим Рикардо противоречие с законом равной нормы прибыли. Если продукты обеих отраслей производства продаются по их стоимостям, то нормы прибыли не могут быть равными; при равных же нормах прибыли продукты обеих отраслей производства не всегда могут продаваться по их стоимостям. Мы имеем здесь, следовательно, противоречие, антиномию двух экономических законов, на практике разрешаемое, по мнению Рикардо (гл. I, отделы 4 и 5), обыкновенно в пользу нормы прибыли за счет стоимости.

Но рикардовское определение стоимости, несмотря на свои зловещие свойства, имеет одну сторону, вследствие которой оно любо-дорого для добропорядочного буржуа. Оно с непроборимой силой взывает к его чувству справедливости. Справедливость и равенство прав — таковы основные устои, на которых буржуа XVIII и XIX веков хотел бы построить свое общественное здание после разрушения феодальных несправедливостей, неравенств и привилегий. Определение же стоимости товаров трудом и совершающийся на основании этой меры стоимости свободный обмен продуктов труда между равноправными товаровладельцами — таковы, как уже доказал Маркс, реальные основы, на которых воздвигнута вся политическая, юридическая и философская идеология современной буржуазии. Раз установлено, что труд — мера стоимости товара, то добропорядочный буржуа должен чувствовать себя крайне оскорбленным в своих лучших чувствах со стороны нечестивого мира, где на словах этот основной закон справедливости признают, на деле же, повидимому, ежеминутно самым бесцеремонным образом нарушают. Именно мелкий буржуа, честный труд которого, — хотя бы даже это был только труд его подмастерьев и учеников, — изо дня в день все больше обесценивается конкуренцией крупной промышленности и машин, именно мелкий производитель должен стремиться к такому обществу, в котором обмен продуктов по их трудовой стоимости будет, наконец, пол-

ной и безусловной истиной. Другими словами, он должен тосковать по такому обществу, в котором действует исключительно и без ограничений только один закон товарного производства, но устранены те условия, при которых он только и может иметь силу, именно остальные законы товарного, а затем и капиталистического производства.

Как глубоко проникла эта утопия в мышление современного — по положению или по воззрениям — мелкого буржуа, показывает тот факт, что уже в 1831 г. она была систематически развита Джоном Греем, в 30-х годах в Англии производили опыт осуществления ее на практике и широко пропагандировали в теории; в 1842 г. она была провозглашена в качестве новейшей истины Родбертусом в Германии, а в 1846 г. — Прудоном во Франции; в 1871 г. еще раз возведена Родбертусом как решение социального вопроса и в то же время как его социальное завещание, а в 1884 г. она снова находит приверженцев среди армии карьеристов, которые стараются использовать прусский государственный социализм, прикрываясь именем Родбертуса.

Критика этой утопии, направленная Марксом как против Прудона, так и против Грея (см. приложение к этой книге), носит настолько исчерпывающий характер, что я могу ограничиться здесь несколькими замечаниями о специально родбертусовской форме обоснования и изложения утопии.

Как уже сказано, Родбертус воспринимает ходячие определения экономических понятий целиком в той форме, в какой они перешли к нему по наследству от экономистов. Он не делает ни малейшей попытки исследовать их. Стоимость для него есть «значение предмета в его количественном отношении к остальным предметам, когда это значение принимается за меру». Это, мягко выражаясь, в высшей степени бессодержательное определение в лучшем случае дает нам представление о том, как приблизительно выглядит стоимость, но абсолютно ничего не говорит о том, что она такое. А так как это все, что Родбертус в состоянии нам сказать о стоимости, то понятно, что он ищет меру стоимости, которая находится вне стоимости. После того как он на целых тридцати страницах самым беспорядочным образом смешивает потребительную стоимость с меновой, проявляя такую силу абстрактного мышления, которая вызывает бесконечное удивление Адольфа Вагнера, он приходит к выводу, что действительной меры стоимости не существует и что приходится довольство-

ваться суррогатной мерой. В качестве таковой мог бы служить труд, но лишь в том случае, если бы продукты равного количества труда всегда обменивались на продукты равного же количества труда, независимо от того, «имеет ли этот случай место сам по себе или же осуществляются мероприятия», которые его вызывают. Стоимость и труд остаются, следовательно, без какой бы то ни было реальной связи, хотя первая глава целиком посвящена разъяснению того, что товары «стоят труда», и только труда, и почему именно.

Труд опять-таки некритически берется Родбертусом в той форме, в которой он фигурирует у экономистов. Мало того. Хотя Родбертус и указывает в нескольких словах на различия в интенсивности труда, тем не менее он берет труд в самом общем виде как «обладающий стоимостью» и, следовательно, измеряющий стоимость — безразлично, расходует ли он при нормальных средних общественных условиях или нет. Тратят ли производители десять дней или только один день на производство продукта, который может быть изготовлен в один день; применяют ли они лучшие или худшие орудия, употребляют ли они свое рабочее время на производство общественно-необходимых предметов и в общественно-необходимом количестве или изготавливают предметы, на которые нет никакого спроса, или предметы, на которые есть спрос, но в количестве большем или меньшем, чем они требуются, — обо всем этом и речи нет: труд есть труд, продукты равного количества труда должны обмениваться одни на другие. Родбертус, который в других случаях всегда готов, кстати и некстати, становиться на точку зрения целой нации и с высоты всеобщего общественного наблюдательного пункта обозревать отношения отдельных производителей, в данном случае боязливо этого избегает. И, конечно, только потому, что он с первой же строки своей книги прямехонько устремляется к утопии рабочих денег, а всякое исследование свойства труда создавать стоимость запрудило бы его русло рифами и сделало бы его непроходимым. Инстинкт Родбертуса оказался на этот раз значительно сильнее его способности абстрактно мыслить, способности, которую, кстати, можно открыть у Родбертуса только при условии весьма конкретного умственного убожества.

Переход к утопии совершен в одно мгновение. «Мероприятия», обеспечивающие обмен товаров по их трудовой стоимости, как правило, не знающее исключений, не вызы-

вают никаких затруднений. Другие утописты того же направления, от Грея до Прудона, мучились над тем, что, мудрствуя, измышляли общественные учреждения, которые должны были осуществить эту цель. Они пытались, по крайней мере, решать экономические вопросы экономическим же путем, основываясь на действиях самих товаровладельцев, совершавших обмен. У Родбертуса дело решается гораздо проще. Как истый пруссак, он апеллирует к государству, и реформа декретируется государственной властью.

Таким образом, благополучно «конституируется» стоимость, но отнюдь не первенство конституирования, на которое Родбертус претендует. Наоборот, Грей и Брай — наряду со многими другими — задолго до Родбертуса повторяли до пресыщения ту же мысль — благочестивое пожелание таких мероприятий, при помощи которых продукты всегда и при всех обстоятельствах обменивались бы только по их трудовой стоимости.

После того как государство таким образом конституировало стоимость по крайней мере части продуктов, — ведь Родбертус к тому же скромн, — оно выпускает свои бумажные рабочие деньги и ссужает ими промышленных капиталистов, которые оплачивают ими рабочих, а эти последние покупают на полученные рабочие деньги продукты, возвращая таким образом бумажные деньги к их исходному пункту. Как восхитительно все это устроивается, мы должны услышать от самого Родбертуса.

«Что касается второго условия, то мероприятия, необходимые для того, чтобы в обращении действительно были обозначенные на расписках стоимости, заключаются в том, что только лица, действительно доставляющие продукты, получают расписки с точно указанным количеством труда, потраченного на изготовление этих продуктов. Кто доставляет продукт двух дней труда, тот получает расписку, на которой обозначено «два дня». Точным соблюдением этого правила при эмиссии должно неизбежно выполняться и это второе условие. Так как стоимость продуктов, согласно нашей предпосылке, всегда совпадает с количеством труда, потраченного на их изготовление, а это количество труда измеряется масштабом обычных подразделений времени, то лицо, доставляющее продукт, на который затрачено два дня труда, если оно получает расписку с отметкой о двух днях, имеет свидетельство, или ассигновку, на стоимость, не большую и не меньшую той, которую оно действительно доставило;

и так как, далее, *только* тот получает такое свидетельство, кто действительно доставил продукт для обращения, то несомненно также, что отмеченная в расписке стоимость имеется в наличности для удовлетворения потребностей общества. Если это правило строго соблюдается, то какой бы широкий круг разделения труда ни представить себе, *сумма наличной стоимости должна быть в точности равна сумме стоимости, засвидетельствованной на расписках*. А так как сумма засвидетельствованной стоимости есть вместе с тем в точности сумма выданных ассигновок, то и последняя сумма с необходимостью должна совпадать с количеством наличной стоимости, *все претензии будут удовлетворены, и ликвидация этих претензий совершится правильно*» (стр. 166, 167).

Если до сих пор Родбертус имел несчастье вечно запаздывать со своими новыми открытиями, то на этот раз, по крайней мере, ему можно поставить в заслугу *одного* рода оригинальность: в такой детски-наивной, прозрачной, можно сказать, истинно померанской форме ни один из его конкурентов не отважился высказать всю нелепость утопии рабочих денег. Так как под каждую расписку доставлен соответствующий предмет стоимости и ни один предмет стоимости, в свою очередь, не выдается иначе, как только после представления соответствующей расписки, то сумма расписок должна постоянно покрываться суммою предметов стоимости; сведение счета происходит без малейшего остатка, совпадение — до секунды труда, и ни один поседевший на службе счетовод главной кассы государственного казначейства не в состоянии будет открыть в нем ни малейшей ошибки. Чего же еще более желать?

В современном капиталистическом обществе каждый промышленный капиталист производит на свой риск и страх—что, как и сколько хочет. Но общественная потребность остается для него неизвестной величиной точно так же, как и качество, род требующихся предметов, равно как и их количество. То, что сегодня не может быть достаточно скоро доставлено, может быть завтра предложено в количестве, далеко превышающем потребность. Тем не менее, так или иначе, хорошо или плохо, потребность, в конечном счете, удовлетворяется, и производство направляется в общем и целом на требуемые предметы. Как же разрешается это противоречие? Конкуренцией. А каким образом достигает этого разрешения конкуренция? Заставляя просто-напросто снижать цены товаров, которые по своему сорту или

количеству не соответствуют в данный момент общественной потребности, ниже их трудовой стоимости, конкуренция этим окольным путем дает производителям почувствовать, что они произвели предметы, которые или вообще не нужны или сами по себе нужны, но доставлены в ненужном, избыточном количестве. Отсюда вытекают два вывода.

Во-первых: постоянные отклонения цен товаров от их стоимостей составляют необходимое условие, при котором и в силу которого только и может проявляться сама стоимость товара. Только благодаря колебаниям конкуренции, а тем самым и товарных цен, прокладывает себе путь закон стоимости товарного производства, и становится действительностью определение стоимости товара общественно-необходимым рабочим временем. И если при этом форма проявления стоимости — цена — обыкновенно выглядит несколько иначе, чем стоимость, которую она проявляет, то стоимость разделяет в этом случае судьбу большинства общественных отношений. Король также выглядит в большинстве случаев совершенно иначе, чем монархия, которую он представляет. Поэтому хотеть установить в обществе товаропроизводителей, обменивающихся своими товарами, определение стоимости рабочим временем, запрещая конкуренции осуществлять это определение стоимости путем давления на цены, т. е. единственным путем, каким это вообще может быть достигнуто, — значит только доказывать, что, по крайней мере, в этой области, усвоено обычное пренебрежение утопистов экономическими законами.

Во-вторых: в обществе товаропроизводителей, обменивающихся своими товарами, конкуренция приводит в действие присущий товарному производству закон стоимости и тем самым осуществляет такую организацию и такой порядок общественного производства, которые являются единственно возможными при данных обстоятельствах. Только обесценение или чрезмерное вздорожание продуктов вочию показывают отдельным производителям — что и сколько требуется для общества и чего не требуется. Между тем именно этот единственный регулятор и хочет упразднить представляемая также и Родбертусом утопия. Если же мы спросим теперь, какие у вас гарантии, что каждый продукт будет производиться в необходимом количестве, а не в большем, что мы не будем нуждаться в хлебе и мясе, задыхаясь под горами свекловичного сахара и утопая в картофельной водке, или что мы не будем испытывать недостатка

в брюках, чтобы прикрыть свою наготу, среди миллионов пуговиц для брюк, то Родбертус с торжеством укажет нам на свой знаменитый расчет, из которого видно, что за каждый излишний фунт сахара, за каждую непроданную бочку водки, за каждую не пришитую к брюкам пуговицу выдана правильная расписка, расчет, в котором все в точности сходится и по которому «все претензии будут удовлетворены, и ликвидация этих претензий совершится правильно». А кто этому не верит, тот пусть обратится к счетоводу главной кассы государственного казначейства  $x$  в Померании, который проверял счет, нашел его правильным и как человек, еще ни разу в недочете по кассе не уличенный, заслуживает полного доверия.

Обратим теперь внимание на наивность, с которой Родбертус думает устранить посредством своей утопии торговые и промышленные кризисы. Когда товарное производство достигает размеров мирового рынка, то соответствие между производством отдельных производителей, руководящихся своим частным расчетом, и рынком, для которого они производят, более или менее неизвестным для них в отношении количества и качества его потребностей, устанавливается путем бури на мировом рынке, путем торгового кризиса <sup>1</sup>. Мешать конкуренции ставить отдельных производителей в известность о состоянии мирового рынка посредством повышения и понижения цен — значит закрывать им глаза совершенно. Организовать производство товаров таким образом, чтобы производители совсем ничего больше не могли знать о состоянии рынка, на который они производят, — это, конечно, такой способ лечения болезни кризисов, в отношении которого Родбертусу мог бы позавидовать сам доктор Эйзенбарт.

Теперь понятно, почему Родбертус определяет стоимость товара просто «трудом», допуская разве только различные степени интенсивности труда. Если бы он исследовал, при помощи чего и как труд создает и потому также определяет и измеряет стоимость, то он пришел бы к общественно-необхо-

---

<sup>1</sup> Так было, по крайней мере, до недавнего времени. С тех пор, как монополия Англии на мировом рынке все более подрывается участием Франции, Германии и, главным образом, Америки в мировой торговле, намечается, повидимому, новая форма выравнивания. Предшествовавший кризису период всеобщего процветания все еще не возвращается. Если он совсем не придет, то хронический застой лишь с небольшими колебаниями должен сделаться нормальным состоянием современной промышленности.



димому труду — необходимому для отдельного продукта как в отношении к другим продуктам того же рода, так и ко всему общественному спросу. Это привело бы его к вопросу о том, как совершается приспособление производства отдельных товаропроизводителей ко всему общественному спросу, а вместе с тем сделало бы невозможной и всю его утопию. На этот раз он действительно предпочел «абстрагироваться» и именно «абстрагироваться» от самой сущности дела.

Теперь, наконец, мы переходим к пункту, в котором Родбертус предлагает нам нечто действительно новое; нечто, отличающее его от всех его многочисленных единомышленников, сторонников организации менового хозяйства при помощи рабочих денег. Все они требуют этой организации обмена с целью уничтожения эксплуатации наемного труда капиталом. Каждый производитель должен получать полностью трудовую стоимость своего продукта. В этом они согласны все, от Грея до Прудона. Ни в коем случае, говорит Родбертус: наемный труд и его эксплуатация остаются.

Во-первых, ни при каком состоянии общества, которое только мыслимо, рабочий не может получать для потребления полную стоимость своего продукта; из произведенного фонда всегда должны будут покрываться расходы на целый ряд хозяйственно непроизводительных, но необходимых функций, а следовательно, и расходы на содержание лиц, выполняющих эти функции. Это верно лишь до тех пор, пока существует современное разделение труда. В обществе с обязательным для всех производительным трудом, — а такое общество также ведь «мыслимо», — это отпадает. Но останется необходимость в общественном резервном фонде и в фонде накопления, и поэтому тогда рабочие, т. е. все члены общества, будут, правда, владеть и пользоваться всем своим продуктом, но каждый в отдельности не будет пользоваться своим «полным продуктом труда». Расходы на экономически непроизводительные функции из продукта труда не были упущены из виду и другими утопистами рабочих денег. Но они предоставляют самим рабочим в обычном демократическом порядке облагать себя налогом для этой цели, тогда как Родбертус, вся социальная реформа которого выкроена в 1842 г. применительно к тогдашнему прусскому государству, передает все дело на усмотрение бюрократии, которая сверху определяет и милостиво выдает рабочему его долю в его собственном продукте.

А во-вторых, земельная рента и прибыль также должны остаться в неурезанном виде. Ибо, мол, землевладельцы и промышленные капиталисты также выполняют известные общественно-полезные и даже необходимые функции, хотя экономически и непроизводительные, и в земельной ренте и прибыли получают в известной мере содержание за это, — взгляд, как известно, отнюдь не новый даже в 1842 г. Собственно говоря, они получают теперь чересчур уж много за то немногое, что они выполняют, и притом довольно плохо, но Родбертусу нужен привилегированный класс по меньшей мере на ближайшие 500 лет, а потому современная норма прибавочной стоимости, выражаясь точно, должна остаться, но не должна возрасти. Эту современную норму прибавочной стоимости Родбертус принимает в 200%, т. е. при ежедневном 12-часовом труде рабочим будут выдавать расписки не на 12, а только на 4 часа, стоимость же, произведенная в остальные 8 часов, должна делиться между землевладельцем и капиталистом. Трудовые расписки Родбертуса, следовательно, просто лгут. Но нужно опять-таки быть владельцем дворянского поместья в Померании, чтобы вообразить, что рабочий класс может согласиться работать по 12 часов, а получать расписки на 4 часа. Если перевести фокус-покус капиталистического производства на этот наивный язык, то он выглядит как неприкрытый грабёж и становится невозможным. Каждая выданная рабочему расписка была бы прямым призывом к восстанию и подходила бы под § 110 германского Имперского уголовного кодекса. Нужно быть человеком, никогда не видевшим иного пролетариата, кроме еще пребывающих фактически в полукрепостном состоянии поденщиков дворянских поместий в Померании, где в полном ходу кнут и палка и где все красивые женщины деревни составляют принадлежность барского гарема, чтобы представить себе, что можно выступать перед рабочими с такими бесстыдными предложениями. Наши консерваторы — вот кто как раз самые большие наши революционеры.

Но если наши рабочие проявят достаточно кротости, чтобы позволить себя убедить, будто в течение тяжелого 12-часового труда они в действительности проработали только 4 часа, то в награду за это им навеки-вечные будет гарантировано, что их доля в их собственном продукте никогда не упадет ниже одной трети. Это действительно разыгранная на игрушечной трубе музыка будущего, и о ней не стоит

и разговаривать. Итак, все новое, что внесено Родбертусом в утопию обмена при помощи рабочих денег, есть просто ребячество и по своему значению гораздо ниже всего того, что написано его многочисленными товарищами как до него, так и после него.

В то время, когда работа Родбертуса «Zur Erkenntnis etc.» появилась, она несомненно была значительной книгой. Его разработка теории стоимости Рикардо в известном направлении была многообещающим началом. Хотя она и была новой только для него и для Германии, но в общем она все же стоит на одном уровне с произведениями его лучших английских предшественников. Но это было только начало, из которого действительный вклад в теорию мог получиться лишь при дальнейшей основательной и критической работе. Этот дальнейший путь он сам себе отрезал тем, что с самого начала принялся развивать теорию Рикардо в другом направлении, в направлении к утопии. Вместе с этим им было утеряно первое условие всякой критики — отсутствие предвзятого мнения. Он работал прежде, не будучи связан заранее намеченной целью, он сделался затем тенденциозным экономистом. Раз очутившись во власти своей утопии, он преградил себе всякую возможность научного прогресса. С 1842 г. до своей смерти Родбертус вертится в круге, постоянно повторяет одни и те же мысли, высказанные или намеченные уже в первом его произведении, чувствует себя непризнанным, считает себя ограбленным там, где нечего было грабить, и, наконец, не без умысла отказывается понять, что открыл он снова в сущности давно уже открытое.

---

В некоторых местах немецкий перевод отличается от печатного французского оригинала. Это произведено на основании исправлений, сделанных рукою Маркса; они будут внесены также в подготавливаемое новое французское издание.

Едва ли еще нужно обращать внимание читателей на то обстоятельство, что употребляемые в этом сочинении термины не вполне совпадают с терминологией «Капитала». Так, например, вместо рабочей *силы* [*Arbeitskraft*] здесь еще говорится о *труде* [*Arbeit*] как товаре, о покупке и продаже труда.

В качестве дополнения к настоящему изданию приложены: 1) выдержка из произведения Маркса «К критике

политической экономии», Берлин, 1859 г., о первой утопии обмена при помощи рабочих денег, принадлежащей Джону Грею, и 2) перевод брюссельской речи Маркса о свободе торговли (1848), относящейся к тому же периоду развития Маркса, как и «Misère» [«Нищета философии»]<sup>1</sup>.

Фридрих Энгельс.

Лондон, 23 октября 1884.

## ПРЕДИСЛОВИЕ КЪ ВТОРОМУ НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ

По поводу второго издания я должен лишь сказать, что ошибочно указанное во французском тексте имя Гопкинса<sup>2</sup> заменено правильным именем Годскин и там же исправлен год издания книги Вильяма Томпсона на 1824. Теперь, надемся, библиографическая совесть господина профессора Антона Менгера будет успокоена.

Фридрих Энгельс.

Лондон, 29 марта 1892.

---

<sup>1</sup> Вместо приложений, указанных Энгельсом, в настоящем издании даны другие приложения.—*Ред.*

<sup>2</sup> У Маркса в «Нищете философии» упоминается книга Гопкинса «Политическая экономия» 1822. Антон Менгер в своей книге «Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag», 2 изд., 1891, стр. 52 («Право на полный доход от труда») высказал предположение, что Маркс ошибочно принял за книгу Гопкинса сочинение, написанное г-жею Марсет под заглавием «John Hopkin's Notions on Political Economy», 1833 («Заметки о политической экономии Джона Гопкинса»). Энгельс предположил, что Маркс ошибочно написал Гопкинс вместо Годскин, и сделал соответствующее исправление в немецком переводе «Нищеты философии». На деле, однако, Маркс имел в виду именно Гопкинса, а не Годскина. Повидимому, у Маркса идет речь о книге Томаса Гопкинса под следующим заглавием: «Economical Inquiries Relative to the Laws, which Regulate Rent, Profit, Wages and the Value of Money». London 1822 («Экономическое исследование законов, которые регулируют ренту, прибыль, заработную плату и стоимость денег»).—*Ред.*

К. МАРКС

# НИЦЕТА ФИЛОСОФИИ



ОТВЕТ НА «ФИЛОСОФИЮ НИЦЕТЫ»

г. ПРУДОНА

## ПРЕДИСЛОВИЕ

К несчастью г. Прудона, его странным образом не понимают в Европе. Во Франции за ним признают право быть плохим экономистом, потому что там он слывет за хорошего немецкого философа. В Германии за ним, напротив, признается право быть плохим философом, потому что там он слывет за одного из сильнейших французских экономистов. Будучи одновременно и немцем и экономистом, мы намерены протестовать против этой двойной ошибки.

Читатель поймет, почему в этом неблагодарном труде нам часто приходилось отвлекаться от критики г. Прудона, чтобы приниматься за критику немецкой философии и одновременно делать критические замечания по поводу политической экономии.

Брюссель, 15 июля 1847.

*Карл Маркс.*

Труд г. Прудона не просто какой-нибудь политико-экономический трактат, не какая-нибудь обыкновенная книга, это — целая библия; там есть все: «тайны», «секреты, исторгнутые из недр божества», «откровения». Но так как в наше время пророков судят строже, чем обыкновенных авторов, то мы считаем нужным предложить читателю пройти вместе с нами область сухой и туманной эрудиции книги «Бытия», чтобы потом уже подняться с г. Прудоном в эфирные и плодородные страны *сверх-социализма* (см. Proudhon, «*Philosophie de la misère*», Prologue, стр. III, строка 20 [Прудон, «*Философия нищеты*», Пролог]).

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ

#### § I. ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ И МЕНОВОЙ СТОИМОСТИ

«Способность всех продуктов, создаваемых самой природой или производимых промышленностью, служить для поддержания человеческого существования носит особое название *потребительной стоимости* [*valeur d'utilité*]. Способность же их обмениваться друг на друга называется *меновою стоимостью* [*valeur en échange*]... Каким же образом потребительная стоимость делается меновою стоимостью? Происхождение идеи стоимости (меновою) не было с достаточной тщательностью выяснено экономистами, поэтому нам необходимо остановиться на этом пункте. Так как очень многие нужные мне предметы существуют в природе в ограниченном количестве или даже не существуют вовсе, то я принужден способствовать производству того, чего мне недостает; а так как я не могу один взяться за производство такой массы вещей, то я *предложу* другим людям, моим сотрудникам по различным родам деятельности, уступить мне часть производимых ими продуктов в *обмен* на продукт, производимый мною» (Прудон, т. I, гл. 2).

Г-н Прудон задается целью прежде всего выяснить нам двойственную природу стоимости, «различие в стоимости», процесс, который делает из стоимости потребительной стоимость меновую. Нам приходится остановиться вместе с г. Прудоном на этом акте пресуществления. Вот каким образом, по мнению нашего автора, совершается этот акт.

Весьма большое количество продуктов не дается природой, а производится промышленностью. Раз потребности превосходят количество продуктов, доставляемых природой, то человек оказывается вынужденным прибегнуть к промышленному производству. Что же такое эта промышленность,



по предположению г. Прудона? Каково ее происхождение? Отдельный человек, нуждающийся в очень большом количестве вещей, «не может один производить такую массу вещей». Многообразии потребностей, требующих удовлетворения, предполагает многообразие вещей, подлежащих производству, — без производства нет продуктов, а многообразие подлежащих производству вещей уже предполагает участие в их производстве более чем одного человека. Но коль скоро вы допускаете, что производством занимается более чем один человек, вы уже целиком предположили производство, основанное на разделении труда. Равным образом, предполагаемая г. Прудонем потребность сама предполагает разделение труда во всем его объеме. Допуская разделение труда, вы вступаете в область обмена, а, следовательно, и в сферу меновой стоимости. С таким же точно правом можно было бы с самого начала предположить существование меновой стоимости.

Но г. Прудон предпочел сделать обход. Последуем за ним во всех его изворотах, которые постоянно будут приводить нас опять к его исходной точке.

Чтобы выйти из того порядка вещей, где каждый производит в одиночку, и чтобы притти к обмену, «я обращаюсь, — говорит Прудон, — к моим сотрудникам по различным родам деятельности». Итак, я имею сотрудников, которые все занимаются различными родами деятельности, хотя ни я, ни все другие не выходим ради этого, по предположению г. Прудона, из одиночного и почти оторванного от общества положения Робинзонов. Сотрудники и различные роды деятельности, разделение труда и обмен, им подразумеваемый, все это просто-напросто падает с неба.

Резюмируем: я имею потребности, основанные на разделении труда и обмене. Предполагая эти потребности, г. Прудон тем самым предполагает уже существование обмена и меновой стоимости, «происхождение» которой он как раз хотел «обосновать с большей тщательностью, чем другие экономисты».

Г-н Прудон мог бы с таким же правом перевернуть порядок вещей, не нарушая этим самым правильности своих заключений. Чтобы объяснить меновую стоимость, нужен обмен. Чтобы объяснить обмен, нужно разделение труда. Чтобы объяснить разделение труда, нужно существование потребностей, которые вызывают необходимость разделения труда. Чтобы объяснить эти потребности, нужно их «предположить», что не значит, однако, отрицать их, в противоположность

первой аксиоме пролога г. Прудона: «Предполагать бога — значит отрицать его» (Пролог, стр. I).

Каким же образом г. Прудон, который предполагает разделение труда известным, объясняет при его помощи меновую стоимость, которая все еще остается для него чем-то неизвестным?

«Человек» решается «предложить другим людям, своим сотрудникам по различным родам деятельности», установить обмен и провести различие между потребительной стоимостью [valeur usuelle] и меновой стоимостью [valeur échangeable]. Соглашаясь на предложение признать это различие, сотрудники оставляют г. Прудону только одну «заботу»: констатировать совершившийся факт, отметить, «занести» в свой политико-экономический трактат «происхождение идеи стоимости». Однако нам-то он все-таки должен объяснить «возникновение» этого предложения, должен, наконец, сказать, каким образом этому единичному человеку, этому Робинзону, внезапно пришла в голову идея сделать «своим сотрудникам» подобное предложение и почему эти сотрудники приняли его предложение без всякого протеста.

Г-н Прудон не входит в эти генеалогические подробности. Он просто прикладывает к факту обмена нечто вроде исторической печати, представляя его в виде предложения, которое могло быть внесено третьим лицом, старающимся установить этот обмен.

Вот образец «исторического и описательного метода» г. Прудона, выражающего свое величественное презрение к «историческому и описательному методу» всяких Адамов Смитов и Рикардо.

Обмен, по Прудону, имеет свою особую историю. Он прошел различные фазы развития.

Было время, как, например, в средние века, когда обменивался только избыток, излишек производства над потреблением.

Было еще другое время, когда не только излишек, но и все продукты, все произведения промышленности перешли в область торговли, когда все производство целиком стало зависеть от обмена. Как объяснить эту вторую фазу обмена — возведение продажной стоимости [valeur vénale] в ее вторую степень?

Г-н Прудон, конечно, имеет на это готовый ответ: допустим, что известный человек «предложил другим людям, своим сотрудникам по различным родам деятельности», возвести продажную стоимость в ее вторую степень.

Наконец, пришло время, когда все, на что люди привыкли смотреть как на неотчуждаемое, сделалось предметом обмена и торга и могло отчуждаться. Это — время, когда то самое, что дотоле передавалось, но не обменивалось, дарилось, но не продавалось, приобреталось, но никогда не покупалось, — добродетель, любовь, убеждение, знание, совесть и т. д., — когда все, наконец, стало предметом торговли. Это — время всеобщей коррупции, всеобщей продажности, или, — выражаясь терминами политической экономии, — время, когда всякая вещь, духовная или физическая, сделавшись продажной стоимостью, выносится на рынок, чтобы найти оценку, соответствующую ее наиболее истинной стоимости.

Каким образом объяснить еще эту новую и последнюю фазу обмена — продажную стоимость в ее третьей степени?

У г. Прудона и на это был бы совершенно готовый ответ: предположите, что некто *«предложил»* другим людям, своим сотрудникам по различным родам деятельности», сделать из добродетели, любви и т. д. продажную стоимость — возвести меновую стоимость в ее третью и последнюю степень.

Как видите, «исторический и описательный метод» г. Прудона на все годится, на все отвечает и все объясняет. Если дело идет в особенности о том, чтобы объяснить исторически «происхождение экономической идеи», то г. Прудон предполагает человека, который предлагает другим людям, своим сотрудникам по различным родам деятельности, совершить этот акт порождения, и вопрос исчерпан.

Отныне мы принимаем «порождение» меновой стоимости за совершившийся факт; теперь нам остается только выяснить отношение меновой стоимости к потребительной стоимости. Послушаем г. Прудона.

«Экономисты очень ясно обнаружили двойственный характер стоимости; но они не выяснили с такою же отчетливостью ее *противоречивой природы*; здесь-то и начинается наша критика... Недостаточно отметить этот поразительный контраст между потребительной стоимостью [valeur utile] и меновой стоимостью, контраст, на который экономисты привыкли смотреть как на вещь очень простую: следует показать, что эта мнимая простота скрывает в себе глубокую тайну, в которую мы должны проникнуть... Выражаясь техническим языком, мы можем сказать, что потребительная стоимость и меновая стоимость находятся в обратном отношении одна к другой».

Если мы хорошо уловили мысль г. Прудона, то вот те четыре пункта, которые он берется установить:

1) Потребительная стоимость и меновая стоимость составляют «паразитальный контраст», обнаруживают противоположность друг другу.

2) Потребительная стоимость и меновая стоимость находятся в обратном отношении друг к другу, во взаимном противоречии.

3) Экономисты не заметили и не поняли ни их противоположности, ни противоречия.

4) Критика г. Прудона начинается с конца.

Мы также начнем с конца и, чтобы снять с экономистов обвинения, возводимые на них г. Прудонем, мы предоставим говорить самим за себя двум довольно видным экономистам.

*Сисмонди*: «Торговля все свела к противоположности между потребительной стоимостью и меновой стоимостью и т. д.» («*Études*», т. II, стр. 162 брюссельского издания [«*Этюдс*»]).

*Лодердаль*: «Как общее правило национальное богатство (потребительная стоимость) уменьшается, по мере того как — с возрастанием продажной стоимости — увеличиваются индивидуальные богатства; и по мере того как уменьшаются эти последние в силу понижения продажной стоимости, национальное богатство вообще увеличивается («*Recherches sur la nature et l'origine de la richesse publique*», traduit par Lagentie de Lavaisse, Paris 1808)<sup>1</sup>.

На *противоположности* между потребительной стоимостью и меновой стоимостью Сисмонди построил свое главное учение, согласно которому уменьшение дохода пропорционально возрастанию производства.

Лодердаль основал свою систему на принципе обратного отношения между двумя родами стоимости, и его доктрина была даже настолько популярна ко времени *Рикардо*, что последний мог говорить о ней, как о вещи вообще известной. «Вследствие смещения понятий продажной стоимости и богатства (потребительной стоимости) пытались утверждать, что богатство может быть увеличено путем уменьшения количества необходимых вещей, полезных или приятных для жизни» (Ricardo, «*Principes d'économie politique*», перевод Констансио, с примечаниями Ж.-Б. Сэя. Paris 1835,

---

<sup>1</sup> «Исследования о природе и происхождении общественного богатства»; перевод Лаженти де Лавес, Париж 1808. В подлиннике переводчик ошибочно назван Lagentil de Lavaisse.—*Ред.*

т. II, глава «О стоимости и богатстве» [Рикардо, «Начала политической экономии»]).

Мы только что видели, что экономисты ранее г. Прудона «указали» на глубокую тайну противоположности и противоречия. Посмотрим теперь, как г. Прудон объясняет, в свою очередь, эту тайну после экономистов.

Если спрос остается неизменным, то меновая стоимость продукта понижается по мере того, как увеличивается предложение; другими словами, чем изобильнее продукт по отношению к спросу, тем ниже его меновая стоимость, или его цена. *Vice versa* [наоборот]: чем слабее предложение по отношению к спросу, тем выше делается меновая стоимость или цена предлагаемого продукта; другими словами, чем более редки предлагаемые продукты по отношению к спросу, тем более возрастает их дороговизна. Меновая стоимость продукта зависит от его изобилия или от его редкости, но всегда по отношению к спросу. Предположите продукт более чем редкий, пожалуй, единственный в своем роде, — этот единственный продукт будет более чем изобилен, он будет излишен, если на него нет спроса. Наоборот, предположите, что количество продукта увеличилось в миллионы раз, — и он все-таки будет редок, если не удовлетворяет спроса, т. е. если на него существует слишком большой спрос.

Эти истины, мы бы сказали, почти банальны, однако нам нужно было их воспроизвести здесь, чтобы сделать понятными тайны г. Прудона.

«Таким образом, следуя за принципом до его конечных выводов, можно притти к следующему, самому логичному в мире заключению: те вещи, употребление которых необходимо и количество которых безгранично, не должны цениться ни во что; те же вещи, полезность которых равна нулю, а редкость достигает крайних пределов, должны иметь бесконечно высокую цену. Наше затруднение довершается еще тем, что практика не допускает этих крайностей: с одной стороны, ни один производимый человеком продукт не может никогда возрастать в безграничной степени; с другой стороны, самые редкие вещи в какой-то степени должны быть полезными, без чего они не могли бы иметь какой бы то ни было стоимости. Потребительная стоимость и меновая стоимость остаются, таким образом, фатально связанными одна с другой, хотя по своей природе они постоянно стремятся исключить друг друга» (т. I, стр. 39).

Чем же, собственно, довершается затруднение г. Прудона? Тем, что он просто-напросто забыл о *спросе* и о том, что всякая вещь может быть редкою или изобильною лишь постольку, поскольку на нее существует спрос. Оставляя спрос в стороне, он отождествляет меновую стоимость с *редкостью*, а потребительную стоимость — с *изобилием*. В самом деле, говоря, что «вещи, *полезность* которых равна нулю, а *редкость* достигает крайних пределов, имеют бесконечно высокую цену», — он просто выражает ту мысль, что меновая стоимость есть только редкость. «Крайняя редкость и равная нулю полезность» — это редкость в чистом виде. «Безгранично высокая цена» — это максимум меновой стоимости, это меновая стоимость в чистом виде. Между этими двумя терминами он ставит знак равенства. Итак, меновая стоимость и редкость суть выражения однозначные. Приходя к этим мнимым «крайним выводам», г. Прудон в действительности доводит до крайности не вещи, а только термины, служащие для их выражения, и этим самым обнаруживает гораздо большую способность к риторике, чем к логике. Он лишь снова находит свои первоначальные гипотезы во всей их наготе, в то время как думает, что обрел новые выводы. Благодаря тому же самому способу ему удастся отождествить потребительную стоимость с изобилием в его чистом виде.

Поставив знак равенства между меновой стоимостью и редкостью, между потребительной стоимостью и изобилием, г. Прудон очень изумляется, не находя ни потребительной стоимости в редкости и меновой стоимости, ни меновой стоимости в изобилии и потребительной стоимости; и так как он видит затем, что практика не допускает этих крайностей, то ему остается только верить в тайну. Бесконечно высокая цена существует, по мнению г. Прудона, именно потому, что нет покупателей, и он никогда их не найдет, поскольку отвлекается от спроса.

С другой стороны, изобилие г. Прудона представляет собою, повидимому, нечто самопроизвольно возникающее. Он совершенно забывает, что есть люди, которыми создано это изобилие и в интересах которых — никогда не терять из виду спроса. В противном случае, как мог бы сказать г. Прудон, что очень полезные вещи должны иметь чрезвычайно низкую цену или даже ничего не стоить? Ему, напротив, следовало бы заключить, что необходимо ограничить

изобилие, сократить производство очень полезных вещей, если хотя бы повысить их цену, их меновую стоимость.

Старинные хозяева виноградников во Франции, добивавшиеся издания закона, воспреещающего разведение новых виноградников, точно так же, как и голландцы, сжигавшие азиатские пряности и вырывавшие гвоздичные деревья на Молуккских островах, желали просто-напросто уменьшить изобилие, чтобы этим поднять меновую стоимость. В продолжение всего средневековья люди действовали по тому же самому принципу, ограничивая законами число подмастерьев, которых имел право нанимать один мастер, и число инструментов, которые он мог употреблять. (См. Anderson, «*Histoire du commerce*» [Андерсон, «*История торговли*»].)

Представив изобилие как потребительную стоимость и редкость как меновую стоимость, — нет ничего легче, как доказать, что изобилие и редкость находятся в обратном отношении друг к другу, — г. Прудон отождествляет потребительную стоимость с предложением, а меновую стоимость — со спросом. Чтобы сделать антитезис еще более резким, он совершает подмену терминов, ставя на место *менной стоимости* — «*стоимость, определяемую мнением*» [*valeur d'opinion*]. Таким образом, борьба переносится на другую почву, и мы имеем, с одной стороны, *полезность* (потребительную стоимость [*valeur en usage*], предложение), а с другой стороны — *мнение* (меновую стоимость, спрос).

Как примирить эти две противоположные силы? Как согласовать их? Можно ли установить между ними хотя бы точку сравнения?

«Конечно, — восклицает г. Прудон, — такая точка есть; это — *свобода воли*. Цена, которая является результатом этой борьбы между спросом и предложением, между полезностью и мнением, не может быть выражением вечной справедливости».

Г-н Прудон продолжает развивать этот антитезис:

«В качестве *свободного покупателя* я — судья моих потребностей, судья пригодности предмета, судья цены, которую я *хочу* дать за него. С другой стороны, вы, в качестве *свободного производителя*, — являетесь господином над *средствами производства* и, следовательно, вы имеете возможность сокращать ваши издержки» (т. I, стр. 41).

А так как спрос, или меновая стоимость, тождественны с мнением, то г. Прудон вынужден сказать:

«Доказано, что именно *свобода воли*, имеющаяся у че-

ловека, вызывает противоположность между потребительной стоимостью и меновой стоимостью. Как разрешить эту противоположность, пока будет существовать свобода воли? И как пожертвовать этой свободой, не жертвуя человеком?» (т. I, стр. 41).

Таким образом, мы не приходим ни к какому результату. Существует борьба между двумя, так сказать, несоизмеримыми силами, между полезностью и мнением, между свободным покупателем и свободным производителем.

Взглянем на вещи несколько ближе.

Предложение не представляет собою исключительно полезности, спрос не представляет исключительно мнения. Разве тот, кто предъявляет спрос, не предлагает также какого-нибудь продукта или денег — знака, служащего представителем всех продуктов? А предлагая их, разве он не представляет, согласно г. Прудону, полезности или потребительной стоимости?

С другой стороны, разве тот, кто предлагает, не спрашивает, в свою очередь, какого-либо продукта или денег — знака, представляющего все продукты? И не делается ли он, таким образом, представителем мнения, стоимости, определяемой мнением, или меновой стоимости?

Спрос есть в то же время предложение, предложение есть в то же время спрос. Таким образом, антитезис г. Прудона, просто отождествляющий предложение с полезностью, а спрос с мнением, покоится лишь на пустой абстракции.

То, что г. Прудон называет потребительной стоимостью, другими экономистами точно с таким же правом называется стоимостью, определяемой мнением. Мы укажем только на Шторха («*Cours d'économie politique*», Paris 1823, стр. 88 и 99 [*«Курс политической экономии»*]).

По словам Шторха, *потребностями* называются вещи, в которых мы чувствуем потребность; *стоимостями* — вещи, которым мы приписываем стоимость. Большинство вещей имеют стоимость только потому, что они удовлетворяют потребностям, вызываемым мнением. Мы можем изменить свое мнение о наших потребностях, поэтому и полезность вещей, выражающая только отношение этих вещей к нашим потребностям, также может изменяться. Даже естественные потребности постоянно изменяются. В самом деле, какая разница между предметами, служащими главной пищей у разных народов!

Борьба завязывается не между полезностью и мнением: она завязывается между продажной стоимостью, которую



требует предлагающий, и продажной стоимостью, которую предлагает спрашивающий. Меновой стоимостью продукта является каждый раз равнодействующая этих, одна другой противоречащих, оценок.

В последнем счете спрос и предложение ставят лицом к лицу производство и потребление, но производство и потребление, основанные на обмене между отдельными лицами.

Предлагаемый продукт полезен не сам по себе. Его полезность устанавливается потребителем. И если даже за продуктом признана полезность, то он все-таки не представляет одной только полезности. В ходе производства продукт обменивался на все издержки производства, как, например, на сырье, заработную плату рабочих и т. д., на все вещи, которые являются продажными стоимостями. Следовательно, продукт представляет в глазах производителя сумму продажных стоимостей. Производитель предлагает не только полезный предмет, но, сверх того, и в особенности, продажную стоимость.

Что касается спроса, то он действителен только при том условии, если имеет в своем распоряжении средства обмена. Эти средства, в свою очередь, суть продукты, продажные стоимости.

Таким образом, в предложении и спросе мы находим на одной стороне продукт, на производство которого затрачены продажные стоимости, и потребность продавать этот продукт; на другой стороне — средства, на приобретение которых также затрачены продажные стоимости, и желание покупать.

Г-н Прудон противопоставляет *свободного покупателя свободному производителю*; и тому и другому он придает чисто метафизические качества. Это и заставляет его сказать: «Доказано, что именно *свобода воли*, имеющаяся у человека, вызывает противоположность между потребительной стоимостью и меновой стоимостью».

Производитель, если только он производит в обществе, основанном на разделении труда и на обмене, — а именно таково предположение г. Прудона, — принужден продавать. Г-н Прудон делает производителя господином средств производства; но он согласится с нами, что не от *свободной воли* зависит его обладание средствами производства. Даже более: эти средства производства в значительной части являются продуктами, получаемыми производителем извне, и при современном производстве он не свободен даже настолько, чтобы производить продукты в желательном ему

количестве. Современная степень развития производительных сил обязывает его производить в том или ином масштабе.

Потребитель не более свободен, чем производитель. Его мнение основывается на его средствах и его потребностях. И те и другие определяются его общественным положением, которое зависит, в свою очередь, от общественной организации в ее целом. Конечно, и рабочий, покупающий картофель, и содержанка, покупающая кружева, оба следуют своему собственному мнению. Но различие их мнений объясняется различием положения, занимаемого ими в обществе, а оно [различие] является продуктом общественной организации.

На чем основывается вся система потребностей — на мнении или на всей организации производства? Чаще всего потребности рождаются прямо из производства или из порядка вещей, основанного на производстве. Мировая торговля почти целиком относится к потребностям не личного потребления, а производства. Точно так же, выбирая другой пример, мы спросим — не предполагает ли нужда в нотариусах существования данного гражданского права, представляющего собою только выражение известного развития собственности, т. е. производства?

Г-н Прудон не довольствуется устранением только что упомянутых элементов из отношения между спросом и предложением. Он доводит абстракцию до последних пределов, сливая всех производителей в *одного только* производителя, всех потребителей в *одного только* потребителя и заставляя этих двух химерических лиц вступать в борьбу друг с другом. Но в реальном мире дело происходит иначе. Конкуренция в рядах предлагающих, а также и конкуренция в рядах спрашивающих составляет необходимый элемент борьбы между покупателями и продавцами, — борьбы, результатом которой является продажная стоимость.

Устранив из своих рассуждений издержки производства и конкуренцию, г. Прудон может, к своему удовольствию, привести к абсурду формулу спроса и предложения.

«Предложение и спрос, — говорит он, — суть не что иное, как две *церемониальные формы*, служащие к тому, чтобы поставить лицом к лицу потребительную стоимость и меновую стоимость и вызвать их примирение. Это два электрических полюса, соединение которых должно вызывать явление сродства, называемое *обменом*» (т. I, стр. 49).

С таким же правом можно было бы сказать, что обмен есть только «церемониальная форма», нужная для того, чтобы поставить лицом к лицу потребителя и предмет потребления. С таким же правом можно было бы сказать, что все экономические отношения суть только «церемониальные формы», с помощью которых совершается непосредственное потребление. Предложение и спрос, — не в большей и не в меньшей степени, чем индивидуальный обмен, — представляют собою отношения данного производства.

Итак, в чем же состоит вся диалектика г. Прудона? В подмене понятий о потребительной стоимости и меновой стоимости, о спросе и предложении такими абстрактными и противоречивыми понятиями, как редкость и изобилие, полезность и мнение, *один* производитель и *один* потребитель, причем оба последние оказываются *рыцарями свободной воли*.

К чему же хотел он притти таким путем?

К тому, чтобы сохранить возможность ввести впоследствии один из им же самим устраненных элементов, — а именно *издержки производства*, — в качестве *синтеза* между потребительной стоимостью и меновой стоимостью. Благодаря этому издержки производства и получают в его глазах значение *синтетической стоимости*, или *конституированной* [установленной] *стоимости*.

## § И. КОНСТИТУИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ, ИЛИ СИНТЕТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ

«Стоимость (продажная) есть краеугольный камень экономического здания». Стоимость «*конституированная*» есть краеугольный камень системы экономических противоречий.

Что же это за «*конституированная стоимость*», составляющая все открытие г. Прудона в политической экономии?

Раз признана полезность продукта, труд является источником его стоимости. Мерой труда служит время. Относительная стоимость продуктов определяется рабочим временем, которое нужно было употребить на их производство. Цена есть денежное выражение относительной стоимости продукта. Наконец, *конституированная* стоимость продукта есть просто-напросто стоимость, конституируемая воплощенным в него рабочим временем.

Как Адам Смит открыл *разделение труда*, так г. Прудон, в свою очередь, претендует на открытие «*конституированной*

стоимости». Конечно, в этом открытии нет «чего-либо неслыханного», но нужно признать, что вообще нет ничего неслыханного ни в одном открытии экономической науки. Чувствуя всю важность своего открытия, г. Прудон старается, однако, уменьшить его значение, «чтобы успокоить читателя насчет своих претензий на оригинальность и примирить с собою умы, по своей робости мало склонные к восприятию новых идей». Но оценка всего сделанного каждым из его предшественников для определения [l'appréciation] стоимости волей-неволей приводит его к откровенному признанию того обстоятельства, что ему принадлежит в этом деле наибольшая часть, львиная доля.

«Синтетическая идея стоимости была уже в смутных очертаниях усмотрена Адамом Смитом... Но у Адама Смита эта идея стоимости была совершенно интуитивной, а общество не изменяет своих привычек в силу веры в интуицию; оно убеждается только авторитетом фактов. Нужно было, чтобы антиномия выразилась более ясно и отчетливо: Ж.-Б. Сэй был ее главным истолкователем».

Итак, вот вся история открытия синтетической стоимости: у Адама Смита — смутная интуиция, у Ж.-Б. Сэя — антиномия, у Прудона — истина, конституирующая и «конституированная». И пусть не заблуждаются относительно этого: все другие экономисты, от Ж.-Б. Сэя до Прудона, ограничивались только тем, что тащились по заезженной дороге антиномии. «Невероятно, что столько разумных людей в течение сорока лет бились над такой простой идеей. Но нет, *стоимости сравниваются между собою, не имея ни одного пункта сравнения и никакой единицы меры*, — вот что решились утверждать экономисты XIX века против всех и вопреки всем вместо того, чтобы принять революционную теорию равенства. *Что скажет об этом потомство?*» (т. I, стр. 68).

Спрошенное столь внезапно потомство прежде всего придет в смущение насчет хронологии. Ему неизбежно придется задаться вопросом: разве Рикардо и его школа не были экономистами XIX века? Система Рикардо, основанная на том принципе, что «относительная стоимость товаров исключительно зависит от количества труда, требуемого на их производство», восходит к 1817 г. Рикардо — глава целой школы, господствующей в Англии со времени реставрации. Учение Рикардо служит строгим, безжалостным выражением стремлений всей английской буржуазии, которая сама по себе является типом современной буржуазии. «Что скажет об этом потомство?» Оно не скажет, что г. Прудон

вовсе не знал Рикардо, ибо он говорит о нем, говорит долго, постоянно возвращается к нему и кончает тем, что называет его учение «набором фраз». Если когда-либо потомство вмешается в этот вопрос, оно скажет, может быть, что г. Прудон, боясь шокировать англофобию своих читателей, предпочел сделаться ответственным издателем идей Рикардо. Но как бы то ни было, оно найдет очень наивным, что г. Прудон выдает за «революционную теорию будущего» то, что Рикардо научным образом изложил как теорию современного общества, общества буржуазного, и что г. Прудон принимает, таким образом, за разрешение антиномии между полезностью и меновой стоимостью то, что Рикардо и его школа задолго до него представляли как научную формулу одной только стороны антиномии: *меновая стоимость*. Но раз и навсегда оставим потомство в стороне и приведем г. Прудона на очную ставку с его предшественником Рикардо. Вот несколько отрывков из произведения этого автора, резюмирующих его учение о стоимости:

«Полезность не может быть мерой *меновая стоимость*, хотя она абсолютно необходима для последней» (стр. 3, тома I «*des Principes de l'économie politique, etc.*», перевод с английского Ф. С. Констансио, Paris 1835 [Рикардо, «Начала политической экономии и т. д.»]).

«Раз вещи признаны сами по себе полезными, то свою меновую стоимость они черпают из двух источников: из своей редкости и из количества труда, требующегося для их добывания. Существуют вещи, стоимость которых определяется исключительно их редкостью. Никаким трудом нельзя увеличить их количество, стоимость их не может понизиться вследствие их наивысшего изобилия. К такого рода вещам принадлежат статуи, дорогие картины и т. д. Стоимость их зависит только от богатства, вкусов и прихоти тех лиц, которые желают приобрести подобные предметы» (стр. 4 и 5, т. I цит. произв.). «Но в массе товаров, ежедневно обращающихся на рынке, такие товары составляют лишь весьма малое количество. Так как подавляющее большинство вещей, которыми хотят обладать, является продуктами промышленности, то количество их может быть увеличено до степени, границ которой почти невозможно указать, и не только в одной стране, но и в ряде стран, если только пустить в ход промышленность, необходимую для их производства» (стр. 5, т. I цит. произв.). «Вот почему, говоря о товарах, их меновой стоимости и о принципах, регулирующих их относительные цены, мы всегда имеем в виду

только такие товары, количество которых может быть увеличено промышленностью и производство которых стимулируется конкуренцией и не встречает никаких препятствий» (т. I, стр. 5).

Рикардо цитирует Адама Смита, который, по его мнению, «определил с *большой точностью* первоначальный источник всякой меновой стоимости» (Смит, т. I, гл. 5). Затем он прибавляет:

«Эта сторона теории, по которой основанием меновой стоимости всех вещей, кроме тех, количество коих не может быть произвольно увеличено промышленностью, является рабочее время, имеет для политической экономии чрезвычайно важное значение: ибо нет более обильного источника, откуда проистекало бы так много ошибок и рождалось столько разнообразных мнений в этой науке, как именно смутный и недостаточно определенный смысл, связываемый со словом *стоимость*» (т. I, стр. 8). «Если меновая стоимость товаров определяется количеством труда, овеществленного в них, то всякое возрастание этого количества должно неизбежно увеличивать стоимость соответствующего товара, а всякое уменьшение — понижать ее» (т. I, стр. 8).

Затем Рикардо упрекает А. Смита в том, что он:

1) «Дает стоимости другую меру, чем труд: иногда стоимость хлеба, иногда количество труда, которое можно купить за эту вещь, и т. д.» (т. I, стр. 9 и 10).

2) «Принимает безоговорочно самый принцип и, однако, ограничивает его применение первобытным и грубым состоянием общества, предшествующим накоплению капиталов и обращению земель в частную собственность» (т. I, стр. 21).

Рикардо старается доказать, что земельная собственность, т. е. рента, не может изменить относительной стоимости товаров [*des denrées*] и что накопление капиталов оказывает лишь преходящее и колебательное действие на стоимости, определяемые сравнительным количеством труда, употребленного на их производство. Для защиты этого положения он создает свою знаменитую теорию земельной ренты, разлагает капитал на его составные части и в конечном счете не находит в нем ничего, кроме накопленного труда. Затем он развивает целую теорию заработной платы и прибыли, доказывает, что заработная плата и прибыль колеблются в сторону повышения и понижения в обратном отношении друг к другу и это не влияет на относительную стоимость продукта. Он не игнорирует

того влияния, которое могут оказывать на пропорциональную стоимость продуктов накопление капиталов и различие в их природе (капиталы основные и капиталы оборотные), равно как и уровень заработной платы. Это как раз те основные проблемы, которые занимают Рикардо.

«Всякая экономия в труде, — говорит он, — всегда понижает относительную стоимость товара<sup>1</sup>, все равно, касается ли эта экономия труда, необходимого для изготовления самого предмета, или же труда, необходимого для образования капитала, употребляемого в этом производстве» (т. I, стр. 28). «Поэтому, пока труд одного дня продолжает давать одному то же количество рыбы, а другому — дичи, естественный уровень соотносительных цен обмена останется постоянно тем же самым, как бы при этом ни изменялась заработная плата и прибыль и какое бы действие ни оказывало накопление капитала» (т. I, стр. 32). «Мы рассматривали труд как основу стоимости вещей, а количество труда, необходимого для их производства, — как норму, определяющую соотносительные количества товаров, которые должны обмениваться друг на друга; но мы и не думали отрицать случайного и временного отклонения рыночной цены товаров от этой их первичной и естественной цены» (т. I, стр. 105 цит. произв.). «Цены вещей в конечном счете регулируются издержками производства, а не отношением, как это часто утверждали, между предложением и спросом» (т. II, стр. 253).

Лорд Лодердаль исследовал изменения меновой стоимости, исходя из закона предложения и спроса или редкости и изобилия по отношению к спросу. По его мнению, стоимость вещи может увеличиваться, когда количество ее уменьшается или когда спрос на нее увеличивается; она может уменьшаться в силу увеличения ее количества или в силу уменьшения спроса. Таким образом, стоимость вещи может изменяться под действием восьми различных причин, а именно: четырех причин, относящихся к самой вещи, и четырех причин, относящихся к деньгам или ко всякому

<sup>1</sup> Рикардо определяет, как известно, стоимость товара «количеством труда, потребного на его изготовление». Но форма обмена, господствующая при всяком способе производства, основанном на производстве товаров, а, следовательно, и при капиталистическом способе производства, приводит к выражению этой стоимости не прямо в количестве труда, а в количестве какого-нибудь другого товара. Стоимость товара, выраженная в определенном количестве другого товара (будут ли это деньги или нет — все равно), называется у Рикардо относительной стоимостью. — Ф. Э.

иному товару, служащему мерой ее стоимости. Вот опровержение Рикардо:

«Цена продуктов, составляющих предмет *монополии* отдельного лица или компании, изменяется в согласии с законом, который был установлен лордом Лодердалем: она понижается по мере увеличения их предложения и повышается в соответствии с усилением требования на них со стороны покупателей. Цена их не стоит ни в какой необходимой связи с их естественной стоимостью. Что же касается цены вещей, составляющих предмет конкуренции среди продавцов и количество которых может быть увеличено в умеренной степени, то она в конечном счете зависит не от отношения между спросом и предложением, а от увеличения или уменьшения издержек производства» (т. II, стр. 259).

Мы предоставляем самому читателю сравнить такой точный, ясный и такой простой язык Рикардо с риторическими потугами, к которым прибегает г. Прудон для определения относительной стоимости рабочим временем.

Рикардо показывает нам действительное движение буржуазного производства, — движение, устанавливающее стоимость. Г-н Прудон, отвлекаясь от этого действительного движения, «бьется» над изобретением новых способов переустройства мира по новой будто бы формуле, представляющей лишь теоретическое выражение реально существующего движения, так хорошо изложенного Рикардо. Рикардо берет за точку отправления современное общество, чтобы показать нам, каким образом оно конституирует [устанавливает] стоимость; г. Прудон берет за точку отправления конституированную стоимость, чтобы установить новый социальный мир при посредстве этой стоимости. По мнению г. Прудона, конституированная стоимость должна описать круг и снова стать конституирующим началом по отношению к миру, уже целиком конституированному именно по этому способу оценки. Для Рикардо определение стоимости рабочим временем есть закон меновой стоимости; для г. Прудона оно есть синтез потребительной и меновой стоимости. Теория стоимости Рикардо есть научное истолкование современной экономической жизни; теория стоимости г. Прудона есть утопическое истолкование теории Рикардо. Рикардо констатирует истинность своей формулы, выводя ее из всех экономических отношений и объясняя с ее помощью все явления, даже те, которые на первый взгляд кажутся ей противоречащими, как, например, рента, накопление капиталов и отношение заработной платы к прибыли; именно



это и делает из его теории научную систему. Г-н Прудон, вновь — и притом лишь посредством совершенно произвольных гипотез — открывший эту формулу Рикардо, принужден затем изыскивать изолированные экономические факты, которые он извращает и фальсифицирует с целью использовать их в качестве примеров, в качестве существующих уже применений, в качестве начала реализации его возрождающей общество идеи [idée régénératrice]. (См. наш § 3 «*Применение конституированной стоимости*».)

Перейдем теперь к выводам, которые г. Прудон извлекает из конституированной (определенной рабочим временем) стоимости.

— Данное количество труда равноценно продукту, созданному тем же количеством труда.

— Всякий день труда стоит другого дня труда, т. е. взятый в равном количестве труд одного рабочего стоит труда другого рабочего: между ними нет качественной разницы. При равном количестве труда продукт одного обменивается на продукт другого. Все люди суть наемные работники [des travailleurs], и притом работники, одинаково оплачиваемые за равное рабочее время. Обмен совершается на началах полного равенства.

Представляют ли собою эти заключения естественные, неоспоримые следствия стоимости «конституированной» или определенной рабочим временем?

Если относительная стоимость товара определяется количеством труда, требуемого на его производство, то отсюда само собою следует, что относительная стоимость труда, или заработная плата, в равной мере определяется количеством труда, необходимого для производства заработной платы. Заработная плата, т. е. относительная стоимость, или цена труда, определяется, следовательно, рабочим временем, нужным для производства всего того, что необходимо для содержания рабочего [l'entretien de l'ouvrier]. «*Уменьшите издержки производства шляп, и цена их, в конце концов, понизится до размеров их новой естественной цены, хотя спрос мог бы удвоиться, утроиться или учетвериться. Уменьшите посредством уменьшения естественной цены пищи и одежды, служащих для поддержания жизни, издержки на содержание людей, и заработная плата, в конце концов, упадет, несмотря на то, что спрос на рабочих может очень сильно увеличиться*» (Рикардо, т. II, стр. 253).

Конечно, язык Рикардо циничен до крайности. Ставить на одну доску издержки производства шляп и издержки

на содержание человека — это значит превращать человека в шляпу. Но не будем слишком громко кричать о цинизме. Цинизм заключается в вещах, а не в словах, выражающих эти вещи. Французские писатели, как, например, гг. Дроз, Бланки, Росси и другие, доставляют себе невинное удовольствие доказывать свое превосходство над английскими экономистами путем соблюдения приличий «гуманного» языка; но если они ставят в упрек Рикардо и его школе цинизм языка, то делают это лишь потому, что им неприятно видеть, как современные экономические отношения изображаются во всей их грубой наготе и разоблачаются тем самым тайны буржуазии.

Резюмируем: труд, будучи сам товаром, измеряется в качестве такового рабочим временем, которое необходимо для производства труда-товара. А что нужно для производства труда-товара? Для этого нужно именно то рабочее время, которое затрачивается на производство предметов, необходимых для непрерывного поддержания труда, т. е. для доставления работнику возможности жить и продолжать свой род. Естественная цена труда есть не что иное, как минимум заработной платы<sup>1</sup>. Если рыночная цена заработной платы поднимается выше ее естественной цены, то случается это именно потому, что закон стоимости, возведенный г. Прудоном в принцип, находит свой противовес в колебаниях отношения предложения и спроса. Но минимум заработной платы остается тем не менее центром, к которому тяготеют рыночные цены заработной платы.

.....

<sup>1</sup> «Положение, по которому «естественная», т. е. нормальная, цена рабочей силы совпадает с минимумом заработной платы, т. е. с эквивалентом стоимости средств существования, безусловно необходимых для жизни рабочего и продолжения его рода, — было впервые установлено мною в «Umrisen zu einer Kritik der Nationalökonomie» («Deutsch-Französische Jahrbücher», Paris 1844) [«Критические очерки по политической экономии». «Немецко-французские ежегодники»] и в «Lage der arbeitenden Klasse in England» [«Положение рабочего класса в Англии»]. Как видно из вышеизложенного, Маркс принял тогда это положение. У нас обоих заимствовал его Лассаль. Но, хотя заработная плата и имеет в действительности постоянное стремление приблизиться к своему минимуму, упомянутое положение все-таки неверно. Тот факт, что рабочая сила оплачивается обыкновенно в среднем ниже своей стоимости, не может изменить ее стоимости. В «Капитале» Маркс исправил вышеприведенное положение (отдел: «Покупка и продажа рабочей силы»), а также выяснил обстоятельства (глава XXIII: «Всеобщий закон капиталистического накопления»), позволяющие при капиталистическом производстве все более и более опускать цену рабочей силы ниже ее стоимости». — Ф. Э.

Таким образом, измеряемая рабочим временем относительная стоимость роковым образом оказывается формулой современного рабства рабочего, вместо того чтобы быть, как того желает г. Прудон, «революционной теорией» освобождения пролетариата.

Посмотрим теперь, в какой степени применение рабочего времени в качестве меры стоимости оказывается несовместимым с существующим антагонизмом классов и с неравным распределением продукта [труда] между непосредственным производителем [le travailleur immédiat] и обладателем накопленного труда.

Возьмем какой-нибудь продукт, например полотно. Этот продукт, как таковой, включает в себе определенное количество труда. Это количество труда останется всегда тем же самым, как бы ни изменилось взаимное положение тех, кто участвовал в производстве этого продукта.

Возьмем другой продукт: сукно, и предположим, что его производство потребовало того же количества труда, что и полотно.

Обменивая эти продукты один на другой, мы обмениваем равные количества труда. Обменивая эти равные количества труда, мы еще не изменяем взаимного положения производителей, точно так же, как не изменяем ничего во взаимоотношениях рабочих и фабрикантов. Утверждать, что этот обмен продуктов, стоимость которых измеряется рабочим временем, ведет к равному вознаграждению всех производителей, это значит предполагать, что равное участие в продукте существовало еще до обмена. Когда произойдет обмен сукна на полотно, производители сукна получат часть полотна, соответствующую прежней их части в сукне.

Заблуждение г. Прудона происходит от того, что он принимает за следствие то, что в лучшем случае есть не более как голословное предположение.

Пойдем далее.

Предполагаем ли мы, по крайней мере, беря рабочее время как меру стоимости, что рабочие дни *эквивалентны* и что день одного человека стоит дня другого? Нет.

Допустим на минуту, что день ювелира равноценен трем дням ткача; в этом случае всякое изменение стоимости драгоценностей по отношению к тканям, поскольку оно не является преходящим результатом колебаний спроса и предложения, должно иметь в качестве своей причины уменьшение или увеличение рабочего времени, употребленного той или другой стороной на производство. Если три дня труда

различных работников будут относиться друг к другу, как 1, 2, 3, то всякое изменение в относительной стоимости их продуктов будет пропорционально этим же числам — 1, 2, 3. Таким образом, можно измерять стоимость рабочим временем вопреки неравенству стоимости различных рабочих дней; но, чтобы применять подобную меру, нужно иметь сравнительную таблицу [стоимостей] различных рабочих дней; эта таблица устанавливается конкуренцией.

Стоит ли час вашей работы часа моей? Это вопрос, разрешаемый конкуренцией.

Конкуренция, по мнению одного американского экономиста, определяет, сколько дней простого труда содержится в одном дне сложного труда. Не предполагает ли это сведение дней сложного труда к дням простого, что за меру стоимости принимается именно простой труд? То обстоятельство, что мерой стоимости служит одно лишь количество труда, невзирая на его качество, исходит, в свою очередь, из того, что простой труд сделался основой промышленности. Оно исходит из того, что различные роды труда уравниваются путем подчинения человека машине или путем крайнего разделения труда; что труд отщипывает человеческую личность на задний план; что часовой маятник сделался точной мерой относительной деятельности двух рабочих, точно так же, как он служит мерой скорости двух локомотивов. Поэтому не следует говорить, что час [труда] одного человека стоит часа другого, но вернее будет сказать, что человек в течение одного часа стоит другого человека в течение другого часа. Время—все, человек—ничто; он только воплощение времени. Теперь уже нет более речи о качестве. Количество одно только решает все: час за час, день за день; но такое уравнение труда не есть дело вечной справедливости г. Прудона; оно просто-напросто факт современной промышленности.

В автоматической мастерской труд одного рабочего почти ничем не отличается от труда другого рабочего; рабочие могут различаться только количеством времени, употребляемого ими на работу. Тем не менее эта количественная разница делается, с известной точки зрения, качественной, поскольку время, употребляемое на труд, зависит отчасти от причин чисто материальных, каковы, например, физическое сложение, возраст, пол; отчасти же от моральных, чисто отрицательных условий, каковы, например, терпение, нечувствительность, прилежание. Наконец, если и встречается качественная разница в труде рабочих, то это —

качество наихудшего качества, которое далеко не представляет собою специальной отличительной особенности. Вот каково в последнем счете положение вещей в современной промышленности. И по этому-то уже осуществившемуся равенству машинного труда г. Прудон проводит рубанком «уравнивания», которое он надеется повсюду осуществить в «грядущем».

Все «уравнительные» следствия, выводимые г. Прудонем из учения Рикардо, основываются на коренном заблуждении. Дело в том, что он смешивает стоимость товаров, измеряемую количеством заключенного в них труда, со стоимостью товаров, измеряемой «стоимостью труда». Если бы эти два способа измерения стоимости товаров сливались в один, то можно было бы с одинаковым правом сказать: относительная стоимость какого бы то ни было товара измеряется количеством заключенного в нем труда; или: она измеряется количеством труда, которое можно на нее купить; или еще иначе: она измеряется количеством труда, за которое можно ее приобрести. Но дело происходит далеко не так. Стоимость труда так же мало может служить мерой стоимости, как и стоимость всякого другого товара. Достаточно нескольких примеров, чтобы еще лучше уяснить только что сказанное нами.

Если мера хлеба стоит двух дней труда, между тем как прежде она стоила одного, то произойдет удвоение ее первоначальной стоимости; но эта мера хлеба не может приводить в действие вдвое большее количество труда, потому что она продолжает содержать в себе все то же количество пищевых веществ, что и прежде. Таким образом, стоимость хлеба, измеряемая количеством труда, употребленного на его производство, возросла бы вдвое; но, измеряемая количеством труда, которое может быть за нее куплено, или количеством труда, которое может ее купить, она была бы еще далека от удвоения. С другой стороны, если бы тот же самый труд стал производить вдвое больше одежды, чем прежде, то относительная стоимость [одежды] упала бы при этом наполовину; но тем не менее покупательная сила этого двойного количества одежды по отношению к труду не стала бы вдвое меньше, или, иначе, за то же самое количество труда нельзя было бы купить вдвое большего количества одежды; и это потому, что половина изготовляемого теперь платья будет всегда оказывать рабочему такую же услугу, как и раньше.

Таким образом, определять относительную стоимость товаров стоимостью труда — значит противоречить эконо-

мическим фактам. Это значит вращаться в порочном круге, это значит определять относительную стоимость посредством другой относительной стоимости, которая сама еще должна быть определена.

Нет никакого сомнения в том, что г. Прудон смешивает два способа измерения — измерение посредством рабочего времени, необходимого для производства какого-либо товара, и измерение посредством стоимости труда. «Труд всякого человека, — говорит он, — может купить стоимость, которую он в себе заключает». Таким образом, по его мнению, определенное количество труда, заключенного в продукте, равняется вознаграждению работника, т. е. равняется стоимости труда. На том же самом основании он смешивает издержки производства с заработной платой.

«Что такое заработная плата? Это себестоимость хлеба и т. д., это полная цена всякой вещи». Пойдем еще дальше: «заработная плата есть пропорциональность элементов, составляющих богатство». Что такое заработная плата? Это стоимость труда.

Адам Смит принимает за меру стоимости иногда рабочее время, необходимое для производства товара, а иногда стоимость труда. Рикардо раскрыл эту ошибку, ясно показав различие между обоими способами измерения. Г-н Прудон еще усиливает ошибку Адама Смита, отождествляя два понятия, которые тот ставит лишь рядом.

Г-н Прудон ищет меру относительной стоимости товаров для того, чтобы найти затем правильную пропорцию, в которой рабочие должны участвовать в продукте, или, другими словами, чтобы определить относительную стоимость труда. Для определения же меры относительной стоимости товаров он не придумал ничего лучшего, как выдать за эквивалент определенного количества труда ту сумму продуктов, которая им создана, что равносильно предположению, будто все общество состоит из одних только непосредственных производителей, получающих свой собственный продукт в виде заработной платы. Кроме того, он принимает за существующий факт равноценность рабочих дней различных работников. Словом: он ищет меры относительной стоимости товаров, чтобы найти равное вознаграждение работников, и принимает как данный уже совершенно установленный факт равенство заработных плат, чтобы, исходя из этого равенства, найти относительную стоимость товаров. Какая восхитительная диалектика!

«Сэй и следовавшие за ним экономисты замечали, что, принимая труд за принцип и действующую причину» [cause efficiente] стоимости, мы попадаем в порочный круг, так как труд сам подлежит оценке и является таким же товаром, как и все другие. Замечу, с дозволения этих экономистов, что, говоря таким образом, они обнаруживают поразительную невнимательность. Труду приписывается стоимость не посколькы он сам есть товар, а имея в виду стоимости, которые, по предположению, потенциально [в возможности] заключены в нем. Стоимость труда есть фигуральное выражение, предвосхищение причины, перед тем как она обнаружилась в действии. Это такая же фикция, как и *производительность капитала*. Труд производит, капитал стоит... Выражаясь эллиптически [сокращенно], говорят о стоимости труда... Труд, как и свобода... по своей природе есть нечто неясное и неопределенное, но качественно определяющееся в своем объекте; иначе говоря, он становится реальностью через свой продукт.

«Но к чему настаивать? Когда экономист (читайте: г. Прудон) изменяет название вещей, *vera rerum vocabula* [истинные наименования вещей], он сам косвенно сознается в своей бессилии и слагает оружие» (Прудон, т. I, стр. 188).

Как мы уже видели, Прудон превращает стоимость труда в «действующую причину» стоимости продуктов, так что *заработная плата* — официальное название «стоимости труда» — составляет, по его мнению, полную цену всякой вещи. Вот почему его смущает возражение Сэя. В труде-товаре, этой ужасной действительности, он видит только грамматическое сокращение. Значит, и все современное общество, основанное на труде-товаре, опирается отныне лишь на поэтическую вольность, на фигуральное выражение. И если общество захочет «устранить все те неудобства», от которых оно страдает, то ему стоит только устранить неблагозвучные выражения, изменить язык, а для этого ему лишь следует обратиться к Академии и попросить нового издания ее словаря. После всего нами слышанного не трудно понять, зачем в сочинении, посвященном политической экономии, г. Прудон счел нужным войти в длинные рассуждения об этимологии и о других частях грамматики. Так, он пускается, например, в ученое обсуждение устарелого образования слова *servus* от *servare*. Эти филологические рассуждения имеют глубокий смысл, эзотерический смысл, они составляют существенную часть аргументации г. Прудона.

Поскольку труд продается и покупается, он есть такой же товар, как и все другие, и имеет, следовательно, меновую стоимость. Но стоимость труда, или труд в качестве товара, так же мало производит, как стоимость хлеба, или хлеб, как товар, служит пищей.

Труд «стоит» больше или меньше в зависимости от большей или меньшей дороговизны съестных припасов, от той или иной величины спроса и предложения рабочих рук и т. д. и т. д.

Труд вовсе не есть «нечто неопределенное»; продается и покупается не труд вообще, а всегда определенный труд. Не только он качественно определяется объектом, но и объект, в свою очередь, определяется специфическими качествами труда.

Поскольку труд продается и покупается, он сам есть товар. Зачем его покупают? «Потому что он, как предполагают, потенциально заключает в себе стоимости». Но когда говорят, что такая-то вещь есть товар, то речь идет уже не о цели, ради которой ее покупают, т. е. не о пользе, которую хотят извлечь из нее, не об употреблении, которое думают из нее сделать. Она — товар как предмет торговли. Все рассуждения г. Прудона сводятся к следующему: труд покупается не ради непосредственного потребления. Конечно, нет, — его покупают как орудие производства, как купили бы, например, машину. Поскольку труд есть товар, он имеет стоимость, но не производит. Г-н Прудон мог бы с таким же точно правом сказать, что товар вовсе не существует, так как всякий товар покупается лишь ради той или иной его полезности и никогда — в качестве товара как такового.

Измеряя стоимость товаров трудом, г. Прудон смутно догадывается, что нельзя не подвести под эту общую меру и труд, поскольку он имеет стоимость, является трудом-товаром. Он предчувствует, что это значит признать минимум заработной платы естественной и нормальной ценой непосредственного труда, а, следовательно, признать современный общественный строй. Чтобы вернуться от этого рокового вывода, он делает крутой поворот и утверждает, что труд не товар, что он не может иметь стоимости. Он забывает, что сам же принял стоимость труда за меру, забывает, что вся его система основана на труде-товаре, на труде — предмете торговли, который продается, покупается, обменивается на продукты и т. д., наконец, на труде, составляющем непосредственный источник дохода работника. Он забывает все.



Чтобы спасти свою систему, он решается пожертвовать ее основой.

Et propter vitam vivendi perdere causas!

[Из-за жизни потерять то, ради чего стоит жить!]

Мы пришли теперь к новому определению «конституированной стоимости».

«Стоимость есть отношение пропорциональности продуктов, составляющих богатство».

Заметим сначала, что в простом выражении «относительная или обмениваемая стоимость» содержится уже понятие о том или другом отношении, в котором продукты взаимно обмениваются. Называя это отношение «отношением пропорциональности», вы ровно ничего не изменяете в относительной стоимости, кроме выражения. Повышение или понижение стоимости продукта несколько не уничтожает его свойства — находиться в том или другом «отношении пропорциональности» к другим продуктам, составляющим богатство.

К чему же этот новый термин, не вносящий нового понятия?

«Отношение пропорциональности» наводит на мысль о многих других экономических отношениях: например, о пропорциональности производства, о правильной пропорции между спросом и предложением и т. д.; и обо всем этом думал г. Прудон, формулируя свою дидактическую парافразу продажной стоимости.

Прежде всего: так как относительная стоимость продуктов определяется сравнительным количеством труда, употребленного на производство каждого из них, то в данном случае отношение пропорциональности обозначает относительное количество продуктов, могущих быть произведенными в данный промежуток времени и способных поэтому обмениваться друг на друга.

Посмотрим, что выводит г. Прудон из этого отношения пропорциональности.

Каждому известно, что в тех случаях, когда спрос и предложение взаимно уравниваются, относительная стоимость любого продукта с точностью определяется заключенным в нем количеством труда, т. е. эта относительная стоимость выражает отношение пропорциональности как раз в том смысле, который мы только что выяснили. Г-н Прудон извращает действительный порядок вещей. Начинайте с измерения относительной стоимости продукта количеством заключенного в нем труда, — говорит он, — и тогда спрос

и предложение неизбежно придут в равновесие. Производство будет соответствовать потреблению, продукты всегда будут обмениваться беспрепятственно, а их рыночные цены будут с точностью выражать их истинную стоимость. Вместо того чтобы говорить, как все люди: в хорошую погоду можно встретить много гуляющих, г. Прудон отправляет своих людей гулять, чтобы обеспечить им хорошую погоду.

То, что г. Прудон выдает за следствие, вытекающее из *априорного* определения продажной стоимости рабочим временем, могло бы иметь место разве лишь в силу закона приблизительно такого содержания:

Отныне продукты должны обмениваться в точном соответствии с потраченным на них рабочим временем. Каково бы ни было отношение спроса к предложению, обмен товаров всегда должен совершаться так, как будто бы произведенное количество их вполне соответствовало спросу. Пусть г. Прудон возьмется сформулировать и провести подобный закон; в таком случае мы не будем требовать от него доказательств. Но если он, напротив, желает оправдать всю теорию как экономист, а не как законодатель, то он должен будет доказать, что необходимое на производство товара *время* с точностью обозначает степень его *полезности* и выражает его отношение пропорциональности к спросу, а следовательно и к сумме богатств. В таком случае, при продаже продукта по цене, равной издержкам его производства, предложение и спрос всегда будут находиться в равновесии, так как предполагается, что издержки производства призваны выражать истинное отношение предложения к спросу.

Г-н Прудон действительно старается доказать, что рабочее время, необходимое для производства продукта, выражает истинное отношение его к потребностям; следовательно, вещи, на производство которых требуется наименьшее количество времени, имеют наиболее непосредственную полезность, и так далее, в том же порядке. Производство какого-нибудь предмета роскоши уже доказывает, по этой теории, что у общества есть излишнее время, дающее ему возможность удовлетворять известную потребность в роскоши.

Что касается доказательства этого положения, то г. Прудон находит его в том замеченном им факте, что наиболее полезные вещи требуют наименьшего времени для производства, что общество всегда начинает с самых легких отраслей промышленности и что оно постепенно переходит

затем к «производству предметов, стоящих наибольшего количества рабочего времени и соответствующих потребностям высшего порядка».

Г-н Прудон заимствует у Дюнуайе пример добывающей промышленности — сбор плодов, пастушество, охота, рыболовство и т. д., — промышленности самой простой, требующей наименьших издержек, с которой человек начал «первый день своего второго творения». Первый день его первого творения изложен в книге «Бытия», которая изображает нам бога как первого в мире промышленника.

В действительности дело идет совсем иначе, чем думает г. Прудон. С самого начала цивилизации в основание производства ложится антагонизм званий, сословий, классов, наконец — антагонизм труда накопленного и труда непосредственного. Без антагонизма нет прогресса. Таков закон, которому подчинялась цивилизация до наших дней. До настоящего времени производительные силы развивались благодаря этому режиму антагонизма классов. Говорить же, что люди потому могли заняться созданием производства предметов высшего порядка и более сложных отраслей промышленности, что все потребности всех работников были удовлетворены, — значит отвлекаться от антагонизма классов и опрокидывать весь ход исторического развития. С таким же правом можно было бы сказать, что во времена римских императоров мурены только потому откармливались в искусственных прудах, что для всего римского народа имелась пища в изобилии, между тем как было совсем наоборот: римскому народу нехватало необходимых средств для покупки хлеба, римские же аристократы действительно не имели недостатка в рабах, чтобы кормить ими своих мурен.

Цены жизненных припасов почти постоянно возрастали, тогда как цены продуктов мануфактурного производства и предметов роскоши почти постоянно падали. Возьмем хотя бы сельское хозяйство: самые необходимые предметы — хлеб, мясо и т. д. — дорожают, цена же хлопка, сахара, кофе и т. д. постоянно, и в поразительной пропорции, понижается. Даже из числа собственно съестных припасов предметы роскоши, вроде артишоков или спаржи и т. д., стоят в настоящее время сравнительно дешевле, чем припасы первой необходимости. В нашу эпоху излишнее легче производить, чем необходимое. Наконец, в различные исторические эпохи взаимные отношения цен не только различны, но противоположны. В продолжение всего средневековья земле-

дельческие продукты были относительно дешевле мануфактурных; в новое время между ними существует обратное отношение. Следует ли из этого, что полезность земледельческих продуктов уменьшилась со времени средних веков?

Потребление продуктов определяется общественными условиями, в которые поставлены потребители, а сами эти условия основаны на антагонизме классов.

Хлопок, картофель и водка представляют собою наиболее распространенные предметы потребления. Картофель породил золотуху; хлопок в большинстве случаев вытеснил лен и шерсть, хотя шерсть и лен во многих отношениях — хотя бы в отношении гигиены — гораздо полезнее хлопка; наконец, водка взяла верх над пивом и вином, хотя, по общему признанию, водка в качестве пищевого продукта признана ядом. В течение целого века правительства тщетно боролись с этим европейским опиумом; экономика победила; она продиктовала свои законы потреблению.

Почему же хлопок, картофель и водка являются краеугольным камнем буржуазного общества? Потому, что их производство требует наименьшего труда, и они имеют, вследствие этого, наименьшую цену. А почему минимум цены обуславливает максимум потребления? Уж не вследствие ли абсолютной, внутренней полезности дешевых предметов, их способности наилучшим образом удовлетворять потребности рабочего как человека, а не человека как рабочего? Нет, это происходит потому, что в обществе, основанном на *нищете*, самые *нищенские* продукты имеют роковое преимущество служить потреблением для широких масс населения.

Говорить теперь, что раз самые дешевые предметы имеют наиболее широкий круг потребления, то они должны обладать самой большой полезностью,— это значит утверждать, что громадное распространение водки, обуславливаемое небольшими издержками ее производства, есть самое убедительное доказательство ее полезности; это значит говорить пролетарию, что для него картофель полезнее мяса; это значит признать существующий порядок вещей; это значит, наконец, вместе с г. Прудоном выступать апологетом общества, которого не понимаешь.

В будущем обществе, где исчезнет антагонизм классов, где не будет и самих классов, потребление не будет определяться *минимумом* времени, необходимого на производство; наоборот, количество времени, которое будут посвящать на

производство того или другого предмета, будет определяться степенью его общественной полезности.

Возвратимся, однако, к тезису г. Прудона. Коль скоро рабочее время, необходимое на производство предмета, не выражает степени его полезности, то и меновая стоимость этого предмета, заранее определенная воплощенным в нем рабочим временем, ни в каком случае не может регулировать правильного отношения предложения к спросу, т. е. отношения пропорциональности в том смысле, который придает ему пока г. Прудон.

«Отношение пропорциональности» между предложением и спросом, т. е. пропорциональная доля [quotité] данного продукта ко всей совокупности производства, устанавливается вовсе не продажей этого продукта по цене, равной издержкам его производства. Лишь *колебания спроса и предложения* указывают производителю то количество, в котором следует произвести данный товар, чтобы получить в обмен на него, по меньшей мере, издержки производства. И так как колебания эти непрерывны, то непрерывно также происходит процесс изъятия и вложения капиталов в различных отраслях промышленности.

«Только путем таких изменений капиталы применяются как раз в *пропорции* надлежащей, а не большей, на производство различных товаров, на которые существует спрос. С повышением или понижением цен, прибыли поднимаются выше или падают ниже их общей нормы, и в силу этого капиталы то притекают в известную отрасль промышленности, в которой произошло такое изменение, то отталкиваются». — «Когда мы посмотрим на рынки больших городов и обратим внимание на то, как регулярно снабжаются они местными и иностранными товарами в требуемом количестве при всех обстоятельствах, несмотря на изменения спроса в зависимости от прихотей, вкуса или перемены в величине населения, как редко происходит переполнение от слишком избыточного предложения или возникает непомерная дороговизна от несоответствия между спросом и предложением, — мы должны будем признать, что принцип, распределяющий капитал по каждой отрасли производства в *точно соответствующих пропорциях*, проявляет свое действие гораздо сильнее, чем обыкновенно полагают» (Рикардо, т. I, стр. 105 и 108).

Если г. Прудон признает определение стоимости продуктов рабочим временем, то он должен признать также и это колебательное движение, которое одно только и делает из рабо-

чего времени меру стоимости в обществах, основанных на индивидуальном обмене. Никакого точно установленного «отношения пропорциональности» вовсе не существует, а есть только устанавливающее его движение.

Мы только что видели, в каком смысле можно справедливо говорить о «пропорциональности» как о следствии определения стоимости рабочим временем. Теперь мы увидим, как это измерение стоимости временем, названное г. Пруденом «законом пропорциональности», превращается в закон *диспропорциональности*.

Всякое новое изобретение, позволяющее производить в один час то, что производилось прежде в два часа, обеспечивает все однородные продукты, имеющиеся на рынке. Конкуренция вынуждает производителя продавать продукт двух часов не дороже продукта одного часа. Она реализует закон, по которому относительная стоимость продукта определяется рабочим временем, необходимым для его производства. Тот факт, что рабочее время служит мерой продажной стоимости, становится, таким образом, законом постоянного *обесценения* труда. Более того. Обесценение распространяется не только на товары, вынесенные на рынок, но и на орудия производства — на всю мастерскую. На этот факт указывает уже Рикардо, говоря: «Увеличивая непрестанно легкость производства, мы непрестанно уменьшаем стоимость некоторых ранее произведенных вещей» (т. II, стр. 59). Сисмонди идет еще дальше. Он видит в этой «стоимости, конституированной» рабочим временем, источник всех противоречий современной промышленности и торговли. «Торговая стоимость [valeur mercantile], — говорит он, — всегда в конечном счете определяется количеством труда, необходимого на приобретение оцененной вещи; не количеством труда, действительно на нее потраченного, а того, которого она впредь будет стоить при усовершенствованных, быть может, средствах производства. Это количество труда, хотя и не легко с точностью определимое, всегда верно устанавливается конкуренцией... Оно служит основанием для расчетов как при запросе цен со стороны продавца, так и при предложении цены со стороны покупателя. Первый станет, быть может, утверждать, что вещь стоила ему десяти дней труда, но если второй знает, что впредь она может производиться в восемь дней, и если конкуренция представит тому убедительные для обеих сторон доказательства, то стоимость сведется к восьми дням, и торг будет заключен по этой цене. И продавец и покупатель знают, конечно, что вещь

полезна, что она желательна, что без потребности в данной вещи нет возможности продать ее; но установление цены вещи не сохраняет никакого отношения к ее полезности» («*Études*, etc.», т. II, стр. 267 брюссельского издания [*Этюды* и т. д.]).

Очень важно не упускать из виду того обстоятельства, что стоимость вещи определяется не временем, в продолжение которого она была произведена, а *минимумом* времени, в которое она может быть произведена, и этот минимум устанавливается конкуренцией. Предположим на минуту, что исчезла конкуренция и нет, следовательно, никакой возможности установить минимум труда, необходимого на производство данного товара. Что тогда произойдет? Достаточно будет затратить на производство предмета шесть часов труда, чтобы иметь право требовать за него, по теории г. Прудона, в шесть раз больше, чем требует тот, кто потратил лишь один час на производство такого же предмета.

Вместо «отношения пропорциональности» мы имеем отношение диспропорциональности, если только вообще мы еще сохраняем какие бы то ни было отношения, хорошие или плохие.

Постоянное обесценение труда есть лишь одна сторона, лишь одно из следствий оценки товаров рабочим временем. Этим же способом оценки объясняется также чрезмерное повышение цен, перепроизводство и много других проявлений промышленной анархии.

Но порождает ли рабочее время, служащее мерой стоимости, хотя бы то пропорциональное разнообразие продуктов, которое так очаровывает г. Прудона?

Как раз наоборот: оно приводит в сфере продуктов к господству той же монополии со всей ее монотонностью, — монополии, которая, как известно всем и на глазах у всех, охватывает уже сферу орудий производства. Быстро прогрессировать могут еще лишь некоторые отрасли промышленности, как, например, хлопчатобумажная. Естественным следствием такого прогресса является быстрое понижение цен на продукты, положим, хлопчатобумажной мануфактуры; но по мере того как удешевляется хлопок, цена льна испытывает сравнительное повышение. Что же выходит из этого? Лен заменяется хлопком. Таким образом, лен изгнан уже почти из всей Северной Америки, и вместо пропорционального разнообразия продуктов мы получили царство хлопка.

Что же остается от этого «отношения пропорциональности»? Ничего, кроме пожеланий добросовестного человека.

которому хочется, чтобы товары производились в таких пропорциях, в которых они могли бы продаваться по добро-совестным ценам. Во все времена добрые буржуа и эконо-мисты-филантропы любили выражать это невинное поже-лание.

Послушаем старика *Буагильбера*:

«Цена товаров, — говорит он, — должна всегда быть *пропорциональной*, ибо только такое взаимное соглашение дает возможность им жить вместе, *чтобы отдаваться в ка-ждый момент* (вот она, прудоновская постоянная способ-ность к обмену) и быть снова воспроизводимыми друг другом... Так как богатство есть не что иное, как этот постоянный обмен между человеком и человеком, между предприятием и предприятием, то было бы ужасным заблу-ждением искать причины нищеты в чем-либо ином, а не в том нарушении этого обмена, которое вызывается от-клонениями от пропорциональных цен» («*Dissertation sur la nature des richesses*», изд. Дэр [*«Рассуждение о природе богатств»*]).

Послушаем также одного новейшего экономиста:

«Великий закон, который должен быть применен к произ-водству, есть *закон пропорциональности* (the law of propor- tion), который один только в состоянии удержать постоян-ство стоимости... Эквивалент должен быть гарантирован... Все нации в различные эпохи пытались посредством много-численных торговых регламентов и ограничений осуществить этот закон пропорциональности, хотя бы до известной сте-пени. Но эгоизм, присущий человеческой природе, довел до того, что вся эта система регулирования была ниспровер-гнута. Пропорциональное производство (*proportionate pro- duction*) есть осуществление истинной социально-экономиче-ской науки» (W. Atkinson, «*Principles of Political Economy*», London 1840, стр. 170 и 195 [В. Аткинсон, «*Основы полити-ческой экономики*»]).

*Fuit Troja!* [Не стало Трои!] Эта правильная пропорция между предложением и спросом, которая опять начинает становиться предметом столь обильных пожеланий, давным-давно перестала существовать. Она пережила себя; она была возможна лишь в те времена, когда средства производства были ограничены, когда обмен происходил в крайне узких границах. С возникновением крупной индустрии эта пра-вильная пропорция должна была необходимо исчезнуть, и производство должно было с необходимостью законов природы проходить постоянную последовательную смену



процветания и упадка, кризиса, застоя, нового процветания и так далее.

Те, кто, подобно Сисмонди, хочет возвратиться к правильной пропорциональности производства и при этом сохранить современные основы общества, суть реакционеры, так как они, чтобы быть последовательными, должны бы были стремиться к восстановлению и других условий промышленности прежних времен.

Что удерживало производство в правильных, или почти правильных, пропорциях? Спрос, который управлял предложением, предшествовал ему; производство следовало шаг за шагом за потреблением. Крупная индустрия, будучи уже самым характером употребляемых ею орудий вынуждена производить постоянно все в больших и больших размерах, не может ждать спроса. Производство идет впереди спроса, предложение силой берет спрос.

В современном обществе, в промышленности, основанной на индивидуальном обмене, анархия производства, будучи источником стольких бедствий, есть в то же время причина прогресса.

Поэтому одно из двух: либо желать правильных пропорций прошлых веков при средствах производства нашего времени, — и это значит быть реакционером и утопистом вместе в одно и то же время.

Либо желать прогресса без анархии, — и тогда необходимо отказаться от индивидуального обмена для того, чтобы сохранить производительные силы.

Индивидуальный обмен совместим лишь с мелкой промышленностью прошлых веков и со свойственной ей «правильной пропорциональностью» или с крупной промышленностью вместе со всей ее свитой нищеты и анархии.

Определение стоимости рабочим временем, т. е. та формула, которую г. Прудон выдает нам за формулу будущего возрождения, есть, следовательно, не что иное, как научное выражение экономических отношений современного общества, что, задолго до г. Прудона, было точно и ясно доказано Рикардо.

Но принадлежит ли г. Прудону, по крайней мере, «уравнительное» применение этой формулы? Он ли первый задумал преобразовать общество путем превращения всех в непосредственных производителей, обменивающихся равными количествами труда? Ему ли упрекать коммунистов — этих людей, лишенных всяких познаний в политической экономии, этих «людей упрямо глупых»,

этих «райских мечтателей», — упрекать их в том, что они не нашли до него этого «решения проблемы пролетариата»?

Кто хоть мало-мальски знаком с развитием политической экономии в Англии, тот не может не знать, что в разное время почти все социалисты этой страны делали *уравнительные* выводы из рикардовской теории. Мы могли бы указать г. Прудону на *Политическую экономию* Гопкинса<sup>1</sup>, 1822, на сочинения: Вильяма Томпсона, «*An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth, most conducive to human happiness*», 1824 [«Исследование принципов распределения богатства, вернее всего ведущих к человеческому счастью»]; Т. Р. Эдмондса, «*Practical, moral and political Economy*», 1828 [«Практическая, моральная и политическая экономия»], и т. д., и т. д., и еще четыре страницы названий таких работ. Приведем слова одного только английского коммуниста, г. Брэя. Мы выпишем главнейшие места из его замечательного произведения: «*Labour's Wrongs and Labour's remedy*», Leeds 1839 [«Бедствия рабочего класса и средства исцеления от них»]; и мы довольно долго остановимся на нем, во-первых, потому, что Брэй мало еще известен во Франции, а во-вторых, еще и потому, что в произведениях этого писателя мы нашли, как нам кажется, ключ ко всем прошедшим, настоящим и будущим сочинениям г. Прудона.

«Выяснение основных принципов есть единственное средство для достижения истины. Поднимемся же сразу к источнику происхождения самих правительств. Исследуя, таким образом, причины этого явления, мы найдем, что всякая форма правления, всякая социальная и политическая несправедливость вытекают из господствующей в настоящее время социальной системы, — из *института собственности в его современной форме* (the institution of property as it at present exists). Поэтому, чтобы навсегда прекратить существующие несправедливости и бедствия, необходимо *разрушить современный общественный строй в самой его основе...* Поражая экономистов на их собственной почве и их собственным оружием, мы отнимаем повод к бессмысленной

.....

<sup>1</sup> Повидимому, Маркс имеет в виду книгу *Томаса Гопкинса* «*Economical Inquiries Relative to the Laws, which Regulated Rent, Profit, Wages and the Value of Money*», London 1822 («Экономические исследования о законах, регулирующих ренту, прибыль, заработную плату и стоимость денег»). — *Ред.*

болтовне о мечтателях и о доктринерах, болтовне, которую они всегда готовы подхватить. Если только экономисты не захотят отступить от тех общепризнанных истин и принципов, на которых построены их собственные аргументы, то они не будут в состоянии опровергнуть выводы, к которым мы придем, следуя этому методу» (Брэй, стр. 17 и 41). «Только труд создает стоимость (It is labour alone which bestows value)... Каждый человек имеет неоспоримое право на все, что может доставить ему его честный труд. Присваивая себе плоды своего труда, он не совершает никакой несправедливости по отношению к другим людям, так как нисколько не нарушает их права действовать таким же образом... Все понятия о высших и низших, о хозяине и наемном рабочем порождены пренебрежением к основным принципам и возникшим отсюда *неравенством* имуществ (and to the consequent rise of inequality of possessions). Пока сохранится это неравенство, не будет возможности ни искоренить такие идеи, ни ниспровергнуть основанные на них учреждения. До сих пор еще многие питают напрасную надежду улучшить господствующий теперь противоестественный порядок вещей посредством уничтожения *существующего неравенства*, не затрагивая при этом *причины* неравенства, но мы скоро докажем, что правительство является не причиной, а следствием, что оно не создает, а, наоборот, само создано, что, словом, оно само является *результатом неравенства имуществ* (the offspring in inequality of possessions) и что неравенство имущества неразрывно связано с существующей теперь общественной системой» (Брэй, стр. 33, 36 и 37).

«Система равенства имеет за собою не только величайшие преимущества, но она также строго справедлива... Каждый человек является звеном, и притом необходимым звеном в той цепи следствий, которая берет свое начало от идеи, чтобы завершиться, быть может, производством штуки сукна. Поэтому из различия наших склонностей к тем или другим профессиям нельзя еще вывести заключения, что труд одного должен вознаграждаться лучше труда другого. Изобретатель, кроме заслуженного им денежного вознаграждения, всегда получит еще дань восхищения, которое вызывает в нас только гений...

«По самой природе труда и обмена, строгая справедливость требует, чтобы выгоды обменивающихся были не только *взаимны*, но и *равны* (all exchangers should be not only *mutually* but they should likewise be *equally* benefitted). Суще-

ствуют только две вещи, которые люди могут между собою обменивать, а именно труд и продукты труда. При справедливой системе обмена стоимость всех продуктов определялась бы *полною совокупностью издержек их производства, и равные стоимости обменивались бы всегда на равные стоимости* (If a just system of exchanges were acted upon, the value of all articles would be determined by the entire cost of production, and equal values should always exchange for equal values). Например, если шляпочник, употребляющий день на производство шляпы, и башмачник, изготовляющий в то же время пару башмаков (предполагается, что оба употребляют сырье одинаковой стоимости), обмениваются между собою этими продуктами, то извлеченная ими выгода будет взаимна и в то же время равна. Здесь выгода для одной стороны не может быть убытком для другой, так как обе доставили одинаковое количество труда и употребили материалы одинаковой стоимости. Но если бы, при тех же предположенных выше условиях, шляпочник приобрел *две* пары башмаков за *одну* шляпу, то очевидно, что обмен был бы несправедлив. Шляпочник надул бы башмачника на один день труда и, поступая таким образом во всех своих обменах, приобрел бы за свой *полугодовой* труд продукт *целого года* [труда] другого лица. До сих пор мы постоянно следовали этой в высшей степени несправедливой системе обмена: *рабочие* постоянно *отдавали* капиталисту труд целого года в обмен за стоимость полугода (the workmen have given the capitalist the labour of a whole year, in exchange for the value of only half a year). Именно отсюда, а вовсе не из предполагаемого неравенства физических и умственных сил индивидов, произошло неравенство богатства и власти. Неравенство в обмене, различие цен при покупках и продажах могут сохраниться лишь при том условии, что капиталисты навсегда останутся капиталистами, а рабочие — рабочими; одни — классом тиранов, другие — классом рабов... Эта сделка [между капиталистами и рабочими] ясно показывает, что за недельный труд рабочего капиталисты и собственники дают ему лишь часть богатства, полученного ими от него же в течение истекшей недели, следовательно, они удерживают у рабочего *ничто*, не давая ему за это *ничего* (nothing for something)... Вся сделка между рабочим и капиталистом оказывается простой комедией; в действительности это по большей части не что иное, как наглый, хотя и *законный, грабеж* (The whole transaction between the producer and the capitalist is a mere farce: it is, in fact, in thousands

of instances no other than a barefaced though *legal robbery*)» (Брэй, стр. 45, 48, 49 и 50).

«Прибыль [*bénéfice*] предпринимателя всегда будет потерей для рабочего до тех пор, пока обмен между ними остается неравным, обмен же не может сделаться равным, пока общество делится на капиталистов и производителей, причем последние живут своим трудом, тогда как первые жиреют от прибыли с чужого труда...

«Ясно, — продолжает г. Брэй, — что, какую бы форму правления вы ни установили... сколько бы ни проповедывали во имя нравственности и братской любви... взаимность несовместима с неравенством обмена. Неравенство обмена, являясь источником неравенства состояний, есть тайный враг, который нас пожирает (*No reciprocity can exist where there are unequal exchanges. Inequality of exchanges, as being the cause of inequality of possessions, is the secret enemy that devours us*)» (Брэй, стр. 51 и 52).

«Рассмотрение цели и задачи общества дает мне основание заключить, что не только все люди должны трудиться и таким образом достигать возможности обмениваться, но что обмениваться должны равные стоимости на равные же стоимости. Далее, для того чтобы прибыль одного не могла составить потери для другого, стоимость должна определяться издержками производства. Мы видели, однако, что при существующем общественном строе прибыль капиталиста и богача всегда является потерей для рабочего, мы видели также, что этот результат неизбежен и что при всех формах правления бедный будет отдан на произвол богатого, пока сохранится неравенство обмена. Равенство обмена может быть обеспечено лишь таким социальным порядком, при котором признавалась бы общеобязательность труда... Равенство обмена произвело бы постепенный переход богатств из рук современных капиталистов в руки рабочего класса» (Брэй, стр. 54 и 55).

«Пока остается в силе система неравенства обмена, производители всегда будут так же бедны, так же невежественны и так же перегружены работой, как и в настоящее время, если бы даже были *отменены все правительственные подати и все налоги*... Только полное изменение системы, только введение равенства труда и обмена может улучшить этот порядок и обеспечить людям подлинное равенство прав... Производителям достаточно одного усилия, — а именно от них-то и должны исходить все усилия для их собственного спасения, — и их цепи будут навсегда разбиты...

В качестве цели политическое равенство есть ошибка, оно оказывается также ошибкой и в качестве средства (*As an end, the political equality is there a failure, as a means, also, it is there a failure*).

«При равенстве обмена прибыль одного не может быть потерей для другого, потому что всякий обмен является тогда простым *перенесением* труда и богатства, он не требует никаких жертв. Таким образом, при господстве социальной системы, основанной на равенстве обмена, производитель может обогатиться также посредством сбережений, но его богатство будет лишь накопленным результатом его собственного труда. Он может обменивать свое богатство или дарить его другим, но, перестав работать, он не будет иметь возможности остаться богатым на сколько-нибудь продолжительное время. С установлением равенства обмена, богатство потеряет присущую ему теперь способность возобновляться и воспроизводиться, так сказать, само по себе; оно не будет уже в состоянии пополнять потери, понесенные им от потребления, так как раз потребленное богатство будет навсегда потеряно и может быть воспроизведено лишь новым трудом. При системе равного обмена не может более существовать то, что мы теперь называем *прибылями и процентами*. Как производители, так и лица, занятые распределением, будут получать одинаковое вознаграждение, и стоимость каждого произведенного и доставленного потребителю продукта будет определяться общей суммой потраченного ими на него труда...

«Принцип равенства обмена должен, следовательно, по самой своей природе привести к *всеобщности труда*» (Брэй, стр. 67, 88, 89, 94 и 109).

Опровергнув возражения экономистов против *коммунизма*, г. Брэй продолжает:

«Если, с одной стороны, для успешного осуществления социальной системы, основанной на общности (*communauté*) в ее совершенной форме, необходимо изменение человеческого характера; если, с другой стороны, современный строй не дает ни условий, ни возможности для такого изменения характера и для приготовления людей к лучшему, всем нам одинаково желательному порядку, то очевидно, что порядок вещей необходимо должен остаться таким, как он есть, если не будет открыт и применен переходный общественный строй, — процесс, принадлежащий как к современной, так и к будущей системе (системе, основанной на общности), — род переходного состояния, в которое общество вступило

бы со всеми своими крайностями и безумствами, чтобы впоследствии выйти из него обогащенным качествами и свойствами, составляющими жизненное условие системы, основанной на общности» (Брэй, стр. 134).

«Для всего этого переходного процесса необходима была бы лишь самая простая форма кооперации... Издержки производства при всяких обстоятельствах определяли бы стоимость продукта, и равные стоимости постоянно обменивались бы на равные стоимости. Если из двух лиц одно лицо работало бы целую неделю, а другое лишь половину недели, то вознаграждение первого вдвое превышало бы вознаграждение второго, но этот излишек платы не был бы получен одним в ущерб другому; потери последнего никоим образом не пошли бы на пользу первому. Каждый обменивал бы лично полученную им заработную плату на предметы одинаковой с нею стоимости, и прибыль, полученная каким-нибудь лицом и какую-нибудь отраслью промышленности, ни в коем случае не составляла бы потери для другого человека или для других отраслей промышленности. Труд каждого лица был бы *единственной мерой* его прибылей или его потери...

«...Количество различных, нужных для потребления продуктов, относительная стоимость каждого предмета по сравнению его с другими (число рабочих, требуемых различными отраслями труда), словом, все, относящееся к общественному производству и распределению, определялось бы посредством общих и местных контор (*boards of trade*). В применении к целой нации эти расчеты совершались бы с такой же малой затратой времени и с такой же легкостью, с какими делаются они, при существующем строе, частным обществом... Индивиды группировались бы тогда в семьи, семьи — в общины, как и при существующем строе... Даже распределение населения между городом и деревней, как ни вредно такое распределение, не было бы отменено сразу... Каждый индивид сохранил бы в этой ассоциации предоставленную ему в настоящее время полную свободу накапливать сколько ему угодно и употреблять свои сбережения по собственному усмотрению... Наше общество было бы, так сказать, большой акционерной компанией, составленной из бесконечного числа маленьких акционерных компаний, которые все трудились бы, производили и обменивали свои продукты на основе полнейшего равенства... Наша новая система акционерных компаний, являясь лишь уступкой, сделанной современному обществу с целью перехода к коммунизму, допускает совместное существование *индивидуальной*

*собственности* на продукты с *общественной собственностью* на производительные силы; она ставит судьбу каждого индивида в зависимость от его собственной деятельности и дает ему равную долю в выгодах, доставляемых природой и успехами техники. Поэтому такая система может быть применена к обществу в его современном состоянии и может приготовить его к дальнейшим изменениям» (Брэй, стр. 158, 160, 162, 168, 194 и 199).

Мы ответим лишь в нескольких словах г. Брэю, заменившему помимо нас и даже против нашей воли г. Прудона, с той, однако, разницей, что г. Брэй не только не выдает предлагаемых им мер за последнее слово человечества, но считает их пригодными лишь для эпохи, переходной между современным обществом и коммунистической системой.

Рабочий час Петра обменивается на рабочий час Павла. Вот основная аксиома г. Брэя.

Предположим, что Петр проработал двенадцать часов, а Павел только шесть часов; в таком случае Петр может обмениваться с Павлом только шестью часами на шесть часов, остальные же шесть часов останутся у него в запасе. Что сделает он с этими шестью рабочими часами?

Или ровно ничего не сделает, и, таким образом, шесть рабочих часов пропали для него даром, или он прогуляет другие шесть часов, чтобы восстановить равновесие, или, наконец, — и это для него последний исход, — он отдаст эти ненужные ему шесть часов Павлу впридачу к остальным.

Итак, что же, в конце концов, выигрывает Петр по сравнению с Павлом? Рабочие часы? Нет. Он выигрывает только часы досуга, он будет вынужден бить баклуши в продолжение шести часов. Чтобы это новое право на безделье не только доставляло удовольствие, но еще ценилось в новом обществе, это последнее должно находить в лености величайшее счастье и считать труд тяжелым бременем, от которого следует избавиться во что бы то ни стало. И если бы еще, возвращаясь к нашему примеру, эти часы досуга, которые Петр выиграл у Павла, были для Петра действительным выигрышем! Но нет. Павел, начавший только шестью часами труда, достигает посредством регулярной и правильной работы того же результата, что и Петр, начавший чрезмерным трудом. Каждый захочет быть Павлом, и возникнет конкуренция, конкуренция лени с целью достичь положения Павла.

Прекрасно! Но что же принес нам обмен равных количеств труда? Перепроизводство, обесценение, чрезмерный труд,



сменяемый безработицей, словом, все существующие в современном обществе экономические отношения за вычетом конкуренции труда.

Но нет, мы ошибаемся. Существует еще одно средство спасения для нового общества, общества Петров и Павлов. Петр сам потребит продукт тех шести часов труда, которые ему остаются. Но раз Петр может производить, не прибегая к обмену, ему нет также надобности и производить для обмена, а этим разрушаются все предположения об обществе, основанном на разделении труда и обмене. Равенство обмена было бы спасено только прекращением всякого обмена: Павел и Петр превратились бы в Робинзонов.

Итак, если предположить, что все члены общества являются непосредственными производителями, обмен равного количества рабочих часов возможен лишь при условии предварительного соглашения насчет числа часов, необходимых для материального производства. Но такое соглашение есть отрицание индивидуального обмена.

Мы приходим к тому же заключению, если, вместо распределения произведенных продуктов, возьмем за точку отправления самый акт производства. В крупной промышленности Петр не может произвольно определить время своего труда, так как без содействия всех остальных Петров и Павлов, входящих в состав мастерской, труд Петра — ничто. Этим как нельзя лучше объясняется упорное противодействие английских фабрикантов *биллю о десятичасовом рабочем дне*. Они слишком хорошо знали, что уменьшение на два часа рабочего времени женщин и подростков должно повлечь за собою также сокращение рабочего времени мужчин. Сама природа крупной промышленности требует равного для всех рабочего времени. То, что является сегодня результатом действия капитала и конкуренции между рабочими, завтра, с устранением отношения труда к капиталу, будет достигаться посредством соглашения, основанного на отношении суммы производительных сил к сумме существующих потребностей.

Но такое соглашение является смертным приговором индивидуальному обмену; значит, мы снова приходим к нашему первому результату.

В принципе, нет обмена продуктов, но есть обмен участвующих в производстве видов труда. От способа обмена производительных сил зависит и способ обмена продуктов. Вообще форма обмена продуктов соответствует форме производства. Измените эту последнюю, и изменение формы

обмена явится как следствие. Точно так же и в истории общества мы видим, что способ обмена продуктов регулируется способом их производства. Индивидуальный обмен тоже соответствует определенному способу производства, который, в свою очередь, соответствует антагонизму классов. Поэтому без антагонизма классов не может быть и индивидуального обмена.

Но совесть честных людей отказывается признать этот очевидный факт. Пока человек остается буржуа, он не может не видеть в этих основанных на антагонизме отношениях отношения гармонии и вечной справедливости, никому не позволяющей выдвигаться за счет других. По мнению буржуа, индивидуальный обмен может существовать без антагонизма классов: для него эти два явления совершенно разнородны. Индивидуальный обмен, каким себе представляет его буржуа, имеет очень мало сходства с индивидуальным обменом, как он существует на практике.

Г-н Брэй возводит *иллюзию* честного буржуа в *идеал*, который он желал бы осуществить. Очищая индивидуальный обмен, устраняя из него все заключающиеся в нем антагонистические элементы, он воображает, что нашел «*уравнительное*» отношение, которое он желал бы ввести в общество.

Г-н Брэй не видит, что то *уравнительное* отношение, тот *совершенствующий идеал*, который он желал бы ввести в мир, сам является лишь отражением существующего мира и что поэтому абсолютно невозможно перестроить общество на основе, которая есть не более, как его собственная приукрашенная тень. По мере того, как эта тень облекается плотью, оказывается, что, вместо рисовавшегося в воображении светлого образа, плоть эта является лишь телом современного общества<sup>1</sup>.

.....  
<sup>1</sup> Теория г. Брэя, как и всякая иная теория, также нашла себе сторонников, обманувшихся ее видимостью. В Лондоне, в Шеффилде, в Лидсе и во многих других городах Англии были основаны *equitable-labour-exchange-bazars* [базары для справедливого обмена продуктов труда]. Поглотив значительные капиталы, все эти базары потерпели скандальное банкротство. Это навсегда отбило у них охоту: предостережение для г. Прудона!

(Как известно, г. Прудон не воспользовался этим предостережением. В 1849 г. он сам пытался устроить меновой банк в Париже. Но банк этот потерпел крах даже раньше, чем начал регулярно действовать. Судебное преследование против г. Прудона заслонило собою этот крах. — Ф. Э.)

### § III. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ СТОИМОСТИ

#### А. Деньги

«Золото и серебро — первые товары, стоимость которых конституировалась».

Итак, золото и серебро оказываются первыми применениями «стоимости, конституированной»... г. Прудон. А так как г. Прудон конституирует стоимость продуктов, определяя ее сравнительным количеством заключенного в них труда, то ему оставалось только доказать, что *колебания* в стоимости золота и серебра всегда объясняются колебаниями рабочего времени, необходимого для их производства. Но г. Прудон и не думает об этом. Он говорит о золоте и серебре как о деньгах, а не как о товаре.

Вся его логика, если только тут есть логика, ограничивается тем, что всем товарам, стоимость которых может измеряться рабочим временем, он подсовывает свойство золота и серебра служить *деньгами*. Конечно, во всем этом фокусе больше наивности, чем лукавства.

Если стоимость данного полезного продукта оценена необходимым для его производства рабочим временем, то он всегда приемлем для обмена. Доказательство этому мы видим в золоте и серебре, находящихся в искомым мной условиях «обмениваемости», — восклицает г. Прудон. Значит, золото и серебро — это стоимость, достигшая своего конституированного состояния, т. е. воплощение идеи г. Прудона. Он как нельзя более счастлив в выборе своего примера. Помимо того, что золото и серебро являются товарами, стоимость которых, как и всяких других товаров, оценивается рабочим временем, они имеют еще свойство служить всеобщим средством обмена, т. е. быть деньгами. Поэтому, принимая золото и серебро за применение «стоимости, конституированной» рабочим временем, нет ничего легче, как доказать, что каждый товар, стоимость которого будет определена [конституирована] рабочим временем, получит постоянную способность к обмену, станет деньгами.

В уме г. Прудона возникает совершенно простой вопрос: почему золото и серебро пользуются привилегией служить типом «конституированной стоимости»?

«Специальная функция, которую обычай присвоил драгоценным металлам, — служить средством обращения — есть

функция вполне условная, и каждый иной товар мог бы выполнять эту роль точно так же, хотя, быть может, и с меньшими удобствами; это признается экономистами, и можно указать не мало подобных примеров. Где же причина этой привилегии служить деньгами, которою вообще пользуются металлы, и как объяснить такую специализацию функций денег, не имеющую аналогии в политической экономии?.. Нельзя ли *восстановить тот ряд явлений*, из которого *деньги* были, повидимому, вырваны, и тем привести деньги к их истинному принципу?»

Ставя вопрос в таких выражениях, г. Прудон уже заранее предполагает *деньги*. Прежде всего он должен был задать себе вопрос, почему при обмене, как он сложился теперь, потребовалось, так сказать, индивидуализировать меновую стоимость, создав специальное средство обмена? Деньги не вещь, а общественное отношение. Являются ли денежные отношения, как и всякое другое экономическое отношение, как разделение труда и т. д., производственным отношением? Если бы г. Прудон составил себе ясное представление об этом отношении, деньги не казались бы ему исключением, оторванным членом неизвестного или искомого ряда.

Он нашел бы, наоборот, что это отношение есть лишь одно из звеньев целой цепи других экономических отношений, с которой оно поэтому очень тесно связано; он признал бы, что это отношение соответствует определенному способу производства, точно так же, как соответствует ему индивидуальный обмен. Что же он делает? Он начинает с того, что выделяет деньги из всей совокупности современного способа производства, чтобы сделать их впоследствии первым членом воображаемого ряда, ряда, который нужно еще открыть.

Раз признана необходимость в специальном средстве обмена, т. е. необходимость денег, остается лишь объяснить, почему эта особая функция досталась золоту и серебру, а не какому-нибудь иному товару. Это вопрос второстепенный, и его объяснение следует искать не в общем сцеплении отношений производства, а в специальных материальных свойствах, присущих золоту и серебру. Отсюда ясно, что если экономисты в этом случае «вышли из пределов своей науки и заговорили о физике, механике, истории и т. д.», в чем упрекает их г. Прудон, то они сделали лишь то, что должны были сделать. Вопрос лежит вне области политической экономии.

«Чего не видел и не понял ни один экономист, — говорит г. Прудон, — это *экономического основания* того преимущества, которым пользуются драгоценные металлы».

Г-н Прудон увидел, понял и завещал потомству это экономическое основание, которого никто — и по совершенно достаточной причине — не видел и не понимал.

«Никто не заметил того факта, что из всех товаров золото и серебро были первыми товарами, стоимость которых конституировалась. В патриархальном периоде золото и серебро составляют еще предмет торговли и обмениваются еще в слитках, но уже с видимым стремлением к преобладанию и с заметным предпочтением. *Мало-помалу* государи [les souverains] овладевают драгоценными металлами и налагают на них свою печать; эта государственная санкция порождает деньги, т. е. товар *par excellence* [по преимуществу], товар, сохраняющий определенную пропорциональную стоимость при всех потрясениях обращения и принимаемый при всех платежах... Отличительная черта золота и серебра заключается, повторяю, в том, что, благодаря своим свойствам металла, трудности добывания, а главное — вмешательству государственной власти, они в качестве товаров рано приобрели устойчивость и подлинность».

Говорить, что из всех товаров золото и серебро были первыми товарами, стоимость которых конституировалась, это значит, как видно из вышеизложенного, сказать только то, что золото и серебро первые сделались деньгами. Вот великое откровение г. Прудона, вот та истина, которой никто не открыл до него.

Если бы г. Прудон хотел этим сказать, что время, необходимое на добывание золота и серебра, было известно раньше, чем время, необходимое для производства других товаров, то это опять было бы одним из тех предположений, которыми он так щедро дарит своих читателей. И если бы мы желали придерживаться сей патриархальной эрудиции, мы сообщили бы г. Прудону, что прежде всего было установлено время, необходимое для производства предметов первой необходимости, каковы железо и т. д. Мы не говорим уже о классическом луке Адама Смита.

Каким же образом г. Прудон может еще после всего этого толковать о конституировании стоимости, несмотря на то, что ни одна стоимость не может конституироваться в отдельности? Стоимость конституируется не временем, необходимым для производства данного продукта в отдельности, а пропорционально количеству всех других продуктов,

могущих быть произведенными в этот же самый промежуток времени. Таким образом, конституирование стоимости золота и серебра заранее предполагает уже готовое конституирование стоимости целой массы других продуктов.

Следовательно, не товар стал «конституированной стоимостью» в виде золота и серебра, а, наоборот, «конституированная стоимость» г. Прудона стала — в виде золота и серебра — деньгами.

Исследуем теперь поближе те *экономические основания*, благодаря которым, по мнению Прудона, золото и серебро по сравнению со всеми другими продуктами приобрели преимущество быть возведенными в достоинство денег, пройдя через состояние, конституирующее стоимость.

Эти экономические основания суть: «видимое стремление к преобладанию», «заметное предпочтение» еще «в патриархальном периоде» и другие словесные выражения того же самого факта, которые только увеличивают наше затруднение, так как благодаря возрастанию числа случаев, приводимых г. Прудонем для объяснения факта, увеличивается число фактов, требующих объяснения. Но г. Прудон не исчерпал всех так называемых экономических оснований. Вот одно из таких оснований величайшей, непреодолимой силы:

«Государственная санкция порождает деньги. Государь овладевает золотом и серебром и налагают на них свою печать».

Итак, произвол государей является, по мнению г. Прудона, наивысшим основанием в политической экономии!

Поистине нужно не иметь никаких исторических сведений, чтобы не знать того факта, что во все времена государь вынуждены были подчиняться экономическим условиям и никогда не могли предписывать им закона. Как политическое, так и гражданское законодательство всегда лишь выражало, заносило в протокол требования экономических отношений.

Государь ли овладел золотом и серебром, чтобы приложением своей печати сделать из них всеобщие средства обмена, или, наоборот, эти всеобщие средства обмена овладели государем и добились от него приложения печати и политической санкции?

Штемпель, который прикладывали и прикладывают к серебру, говорит не о его стоимости, а о его весе. Та устойчивость и та подлинность, о которых толкует г. Прудон, относятся только к пробе монеты, и эта проба указывает, сколько чистого металла содержится в куске серебра, превращенном

в монету. «Единственная стоимость, внутренне присущая марке серебра, — говорит Вольтер со своим обычным здравым смыслом, — есть марка серебра, полфунта серебра весом в восемь унций. Только вес и проба создают эту внутреннюю стоимость» (Voltaire, «*Système de Law*» [Вольтер, «*Система Лоу*»]). Но вопрос: сколько стоит унция золота или серебра? — все еще остается неразрешенным. Если бы на кашемире из магазина *Гран-Кольбер* выставлялось фабричное клеймо с надписью «*чистая шерсть*», то подобное фабричное клеймо еще ничего не сказало бы нам о стоимости кашемира. Нам все еще оставалось бы узнать, сколько стоит шерсть. «Французский король Филипп I, — говорит г. Прудон, — примешал к турецкому ливру Карла Великого одну треть лигатуры. Он вообразил, что, обладая монопольным правом чеканить монету, он может поступать с нею, как поступает со своим товаром каждый торговец, имеющий монополию на какой-нибудь продукт. Что же такое в сущности представляет собою эта подделка монеты, которую так ставят в упрек Филиппу и его наследникам? Соображение, очень верное с точки зрения коммерческой рутины и совершенно ложное с точки зрения экономической науки, а именно следующее: так как стоимость регулируется спросом и предложением, то можно повысить оценку, а тем самым и стоимость вещей, или произведя искусственную редкость или же завладев их исключительным производством; и это так же верно в применении к золоту и серебру, как и в применении к хлебу, вину, маслу или табаку. А между тем, едва только обнаружилось мошенничество Филиппа, его монеты пали до их истинной стоимости, и он потерял все то, что надеялся выиграть за счет своих подданных. Та же судьба постигла и все аналогичные попытки».

Прежде всего много и много раз было уже доказано, что когда государь решается подделывать монету, то он же и теряет при этом. То, что выигрывается один раз при первом выпуске, теряется затем каждый раз, когда фальсифицированные монеты возвращаются к нему в виде налогов и т. д. Но Филипп и его наследники сумели более или менее уберечься от этой потери, так как, пустив в обращение поддельную монету, они тотчас же поспешили издать приказ о всеобщей перечеканке монеты по старому образцу.

К тому же, если бы Филипп I действительно рассуждал, как г. Прудон, то его рассуждение вовсе не было бы так хорошо «с коммерческой точки зрения». Ни Филипп I, ни г. Прудон вовсе не обнаруживают больших коммерческих

способностей, воображая, что стоимость золота, равно как и стоимость какого бы то ни было иного товара, может быть изменена на том единственном основании, что их стоимость определяется отношением предложения к спросу.

Если бы король Филипп приказал называть одну меру хлеба двумя мерами, он оказался бы мошенником. Он обманул бы всех получателей ренты, всех людей, которым предстояло бы получить 100 мер хлеба; по его милости, вместо 100 мер, они получили бы только 50. Предположите, что король был должен кому-нибудь 100 мер хлеба; он мог бы в данном случае заплатить только 50. Но в торговле 100 мер стоили бы ничуть не больше прежних 50. Перемена названия не изменяет вещи. Ни спрос, ни предложение хлеба не уменьшится и не увеличится от одной перемены имени. Поэтому, раз отношение предложения к спросу не изменится, несмотря на эту перемену имени, то и цена хлеба тоже не потерпит никакого действительного изменения. Когда говорят о спросе и предложении, то под этим понимают спрос и предложение вещей, а не их названий. Филипп I не создавал золота и серебра, как это вытекает из слов г. Прудона, он создавал только названия монет. Выдайте свои французские кашемиры за азиатские, и очень может быть, что вам удастся обмануть одного или двух покупателей, но едва только плутня откроется, — цена ваших так называемых азиатских кашемиров упадет до цены французских. Прикладывая лживые клейма к золоту и серебру, Филипп I мог надувать людей лишь до той минуты, пока его проделка не была открыта. Как и всякий другой лавочник, он обманывал своих клиентов ложным обозначением товара; но это могло длиться лишь некоторое время. Рано или поздно законы торговли должны были отозваться на нем во всей своей суровости. Это ли хотел доказать г. Прудон? Нет, не это. По его мнению, не торговля, а государь дает деньгам их стоимость. А что доказал он в действительности? Что торговля сильнее государя, что государь приказывает марке сделаться отныне двумя марками, а торговля продолжает твердить, что эти две новые марки стоят не больше одной старой.

Но все это ни на шаг не подвигает вопроса о стоимости, определяемой количеством труда. Все еще остается решить, определяется ли стоимость этих двух марок, — снова превратившихся в одну прежнюю марку, — издержками производства или законом спроса и предложения?

Г-н Прудон продолжает: «Следует даже заметить, что если бы вместо подделки монет у короля была власть



удвоить их массу, то меновая стоимость золота и серебра тотчас же упала бы наполовину все на том же основании пропорциональности и равновесия.

Если верен этот взгляд, разделяемый г. Прудонем с другими экономистами, то он говорит лишь в пользу их теории спроса и предложения, а вовсе не в пользу пропорциональности г. Прудона. В самом деле, какое бы количество труда ни было заключено в удвоенной массе золота и серебра, стоимость их упала бы наполовину, если бы спрос остался неизменным при удвоенном предложении. Или на этот раз *«закон пропорциональности»* случайно совпадает со столь презируемым законом спроса и предложения? Впрочем, эта правильная пропорциональность г. Прудона до такой степени эластична, подвержена стольким изменениям, сочетаниям и перестановкам, что легко может совпасть иной раз и с отношением предложения к спросу.

Приписывать *«всякому товару если не фактическую, то по крайней мере юридическую способность к обмену»*, основываясь на роли золота и серебра, — значит не понимать этой роли. Золото и серебро имеют юридическую способность к обмену лишь потому, что обладают фактической способностью к нему, а этой последней они обладают потому, что современная организация производства нуждается во всеобщем средстве обмена. Право есть лишь официальное признание факта.

Мы видели, что пример денег, как практического применения конституированной стоимости, избран г. Прудонем лишь с целью протащить контрабандой всю его теорию обмениваемости, т. е. с целью доказать, что всякий товар, оцениваемый по издержкам производства, должен сделаться деньгами. Все это было бы прекрасно, не будь того маленького неудобства, что из всех товаров именно золото и серебро в качестве монеты являются единственными товарами, не определяющимися издержками их производства; это до такой степени верно, что в обращении они могут быть заменены бумагой. Пока соблюдается известная пропорция между потребностями обращения и количеством выпущенных денег — будь они бумажные, золотые, платиновые или медные — не может ставиться вопрос о соблюдении пропорции между внутренней (определяемой издержками производства) и номинальной стоимостью денег. Без сомнения, в международной торговле деньги, как и всякий другой товар, определяются рабочим временем. Но дело в том, что в международной торговле даже золото и серебро являются сред-

ством обмена лишь как продукты, а не как деньги, т. е. они теряют тот характер «устойчивости и подлинности» и «государственной санкции», составляющих, по мнению г. Прудона, их специфический характер. Рикардо так хорошо понял эту истину, что, основав всю свою систему на стоимости, определяемой рабочим временем, и сказав, что «*золото и серебро*, так же как и все другие товары, имеют лишь стоимость, соответствующую количеству труда, необходимого на производство и доставку их на рынок», — он добавляет тем не менее, что стоимость *денег* определяется не рабочим временем, воплощенным в их материальных свойствах, а лишь законами предложения и спроса. «Хотя бумажные деньги не имеют никакой внутренней стоимости, но путем ограничения их количества меновая стоимость их может стать так же велика, как стоимость монеты такого же наименования или слитка, оцененного в этой монете. В силу того же самого принципа, а именно на основе ограничения количества, стертая монета может обращаться по стоимости, которую она имела бы, если бы обладала законным весом и пробой, а не по той стоимости, которую она действительно содержит. Вот почему в истории британского монетного дела мы часто замечаем, что деньги никогда не обесценивались прямо пропорционально уменьшению их веса. Основание этого лежит в том, что количество их никогда не увеличивалось пропорционально обесценению их стоимости» (Рикардо, *цит. произв.*).

Вот что замечает Ж.-Б. Сэй по поводу этих слов Рикардо: «Этого *примера* достаточно, мне кажется, чтобы убедить автора, что основанием всякой стоимости служит не количество труда, необходимого на производство товара, а потребность в нем, сопоставленная с его редкостью».

Итак, деньги, которые не представляют, по мнению Рикардо, стоимости, определяемой рабочим временем, и именно по этой причине принимаются Сэем за пример, годный для убеждения Рикардо в том, что и другие стоимости не могут определяться рабочим временем, — эти самые деньги, говорю я, которые Сэй приводит как пример стоимости, определяемой исключительно предложением и спросом, являются, по мнению г. Прудона, наилучшим примером применения стоимости, конституированной... рабочим временем.

Чтобы покончить с этим, заметим, что если деньги не представляют собою «стоимости, конституированной» рабочим временем, то еще того меньше могут они иметь что-нибудь общее с правильной «пропорциональностью» Прудона.

Золото и серебро всегда способны к обмену потому, что имеют специальную функцию служить всеобщим средством обмена, а вовсе не потому, что находятся в количестве, пропорциональном общей сумме богатств; или, лучше сказать, они всегда пропорциональны, потому что они одни из всех товаров служат деньгами, всеобщим средством обмена, каково бы ни было их количество по отношению к общей сумме богатств. «Находящиеся в обращении деньги никогда не могут быть в таком изобилии, чтобы оказаться излишними; ибо, уменьшая их стоимость, вы в той же самой пропорции увеличиваете их количество, а увеличивая их стоимость, вы уменьшаете их количество» (Рикардо).

«Какая путаница эта политическая экономия!» — восклицает г. Прудон.

«Проклятое золото!» — не без комизма кричит коммунист (устаи г. Прудона). С таким же правом можно было сказать: проклятая пшеница, проклятый виноград, проклятые овцы! — потому что, «подобно золоту и серебру, всякая стоимость в сфере торговли [*valeur commerciale*] должна притти к своему точному и строгому определению».

Мысль о сообщении денежных свойств овцам и винограду не отличается новизной. Во Франции она принадлежит веку Людовика XIV. В ту эпоху, когда стало упрочиваться всемогущество денег, послышались жалобы на обесценение всех других товаров, и с нетерпением ожидали того момента, когда «всякая стоимость в сфере торговли» сможет достигнуть своего точного и строгого определения, сделается деньгами. Вот что находим мы уже у Буагильбера, одного из старейших экономистов Франции: «Тогда деньги, благодаря вторжению бесчисленных конкурентов в лице самих товаров, восстановленных в их справедливой стоимости, будут введены в свои естественные границы» («*Economistes financiers du dix-huitième siècle*», стр. 422, изд. Дэр [*«Экономисты-финансисты восемнадцатого века»*]).

Как видно, первые иллюзии буржуазии являются также и последними ее иллюзиями.

## В. Излишек труда

«В политико-экономических сочинениях встречается иногда следующая нелепая гипотеза: *если бы удвоилась цена всех вещей...* Как будто цена всех вещей не есть отношение вещей, и как будто отношение, пропорция или закон могут быть удвоены!» (Прудон, т. I, стр. 81).

Экономисты впали в это заблуждение благодаря тому, что не умели применить «закон пропорциональности» и «конституированной стоимости».

К несчастью, на 110 стр. I тома сочинения самого г. Прудона мы встречаемся с той нелепой гипотезой, по которой «возросла бы цена всех вещей, если бы заработная плата испытала общее повышение». Кроме того, если в политико-экономических сочинениях и попадаетея упомянутая фраза, то там же находится и ее объяснение. «Если говорят, что повышается или понижается цена всех товаров, то при этом всегда исключается тот или другой товар; обыкновенно так поступают с деньгами или с трудом» («*Encyclopaedia Metropolitana or Universal Dictionary of Knowledge*», т. IV [«*Энциклопедия метрополитана или всеобщий словарь знаний*»], статья Сениора: «*Political Economy*» [«*Политическая экономия*»], London 1836. См. также относительно этого выражения Дж.-Ст. Милль, «*Essays on some unsettled questions of political economy*», London 1844 [«*Исследование некоторых нерешенных вопросов политической экономии*»], и Тук, «*An history of prices etc.*», London 1838 [«*История цен и т. д.*»]).

Перейдем теперь ко второму применению «конституированной стоимости» и других пропорциональностей, единственный недостаток которых заключается в том, что они мало пропорциональны; посмотрим также, не будет ли г. Прудон в этом случае счастливее, чем в попытке превращения овец в деньги.

«Общим признанием экономистов пользуется та аксиома, по которой всякий труд должен оставлять известный излишек. Для меня это положение имеет значение всеобщей и безусловной истины; это — необходимое дополнение закона пропорциональности, который можно рассматривать как сжатое выражение всей экономической науки. Но пусть извинят меня экономисты: с точки зрения их теории принцип, по которому *всякий труд должен оставлять известный излишек*, не имеет смысла и не может подлежать какому бы то ни было *доказательству*» (Прудон).

Чтобы доказать, что всякий труд должен оставлять известный излишек, г. Прудон персонифицирует общество; он делает из него *общество-лицо*, общество, которое далеко не то же самое, что общество, состоящее из лиц, потому что у него есть свои особые законы, чуждые всякой связи с составляющими общество лицами, у него есть свой «собственный ум» — не обыкновенный человеческий ум, а ум,

не имеющий обычного здравого смысла. Г-н Прудон упрекает экономистов в непонимании личности этого коллективного существа. Мы считаем не лишним противопоставить его словам следующую выписку из сочинения одного американского экономиста, который упрекает других экономистов в совершенно противоположном: «Моральному лицу (*the moral entity*), грамматическому существу (*the grammatical being*), называемому обществом, были приписаны свойства, на самом деле существующие лишь в воображении тех, которые создают вещи при помощи слова... Вот что причинило в политической экономии множество трудностей и плачевных недоразумений» (Th. Cooper, «*Lectures on the Elements of Political Economy*», Columbia 1826 [Т. Купер, «Лекции об элементах политической экономии»]).

«По отношению к индивидам, — продолжает г. Прудон, — этот принцип излишка труда верен лишь потому, что он проистекает из общества, которое распространяет, таким образом, на них благоденствия своих собственных законов».

Хочет ли г. Прудон этим просто сказать, что индивид, живущий в обществе, может произвести гораздо больше, чем изолированный индивид? Имеет ли он в виду излишек производства ассоциированных индивидов сравнительно с производством индивидов, не связанных между собою? Если да, то мы можем указать ему целую сотню экономистов, выражавших эту простую истину без того мистицизма, которым окружает ее г. Прудон. Вот что пишет, например, г. Садлер:

«Соединенный труд дает такие результаты, к каким никогда не мог бы привести труд индивидуальный. Значит, по мере того как человечество будет численно возрастать, продукты его соединенного промышленного труда будут значительно превышать ту сумму, которая получается от простого сложения чисел, соответствующих приросту населения... В настоящее время как в механических искусствах, так и в научных работах каждый человек может действительно в один день сделать больше, чем изолированный индивид сделал бы во всю свою жизнь. В применении к нашей науке оказывается неверной математическая аксиома, гласящая, что целое равно своим частям. Что касается труда, этой великой опоры человеческого существования (*the great pillar of human existence*), то можно сказать, что продукт совокупных усилий намного превышает все, что когда-либо могли создать индивидуальные и разъединенные

усилия» (Т. Sadler, «*The law of population*», London 1830 [Т. Садлер, «*Закон народонаселения*»]).

Возвратимся к г. Прудону. Излишек труда, — говорит он, — находит свое объяснение в обществе-лице. Жизнь этого лица подчиняется таким законам, которые противоположны законам, определяющим деятельность человека как индивида; г. Прудон хочет доказать это «*фактами*».

«Никакой новый прием в области производства никогда не может принести своему изобретателю выгоды, равной той, которую он приносит обществу... Было замечено, что железнодорожные предприятия служат в гораздо меньшей степени источником обогащения предпринимателей, чем государства... Гужевой транспорт обходится в среднем по 18 сантимов с тонно-километра, с нагрузкой и разгрузкой включительно. Было рассчитано, что при таком тарифе обычное железнодорожное предприятие не дало бы и 10% чистого дохода [bénéfice net], т. е. принесло бы почти столько же, сколько дает перевозка по шоссейным дорогам. Но допустим, что скорость перевозки по железной дороге относится к скорости перевозки по шоссейным путям, как 4 к 1; так как для общества само время есть стоимость, то, при равенстве цен, железная дорога будет давать по сравнению с шоссе прибыль в 400%. Между тем эта огромная, очень реальная для общества выгода далеко не реализуется в той же пропорции для железнодорожника: доставляя обществу 400% прибыли, он не приобретает для себя и 10%. В самом деле, предположим для большей наглядности, что железная дорога подняла тариф до 25 сантимов, тогда как подводы продолжают перевозить по 18; в таком случае первая тотчас же лишилась бы всех товарных грузов. Отправители и получатели все возвратились бы к старым фурам или даже, если бы понадобилось, к телегам. Локомотив был бы покинут: общественная прибыль в 400% была бы принесена в жертву частной потере в 35%. И понятно почему: выигрыш от быстроты железнодорожного движения есть выигрыш чисто общественный; каждый в отдельности пользуется им лишь в самых незначительных размерах (не следует забывать, что речь идет теперь лишь о перевозке товаров), тогда как потеря падает прямо и лично на потребителя. Общественная прибыль, равная 400%, представляет для индивида, — если общество состоит только из миллиона человек, — всего-навсего четыре десятитысячных, тогда как понесенная потребителем потеря в 33% предполагала бы общественный дефицит в 33 миллиона» (Прудон).

Пусть бы еще г. Прудон выражал учетверенную скорость в 400% первоначальной скорости. Но сопоставлять проценты скорости с процентами прибыли и устанавливать пропорцию между двумя отношениями, которые, — если и измеряются каждое в отдельности процентами, — остаются тем не менее между собою несоизмеримыми, это значит устанавливать пропорцию между процентами, не обращая внимания на различие их наименования.

Проценты всегда остаются процентами, 10% и 400% соизмеримы, они относятся друг к другу, как 10 к 400. Следовательно, решает г. Прудон, 10% прибыли стоят в 40 раз меньше учетверенной скорости. Чтобы сохранить подобие истины, он замечает, что для общества время — деньги (*time is money*). Он впадает в эту ошибку потому, что смутно припоминает о каком-то отношении между стоимостью и рабочим временем и спешит уподобить рабочее время времени перевозки, т. е. он отождествляет с целым обществом нескольких кочегаров, кондукторов и проводников, рабочее время которых есть действительно время перевозки. Таким образом, внезапно превратив скорость в капитал, он уже с полным основанием говорит: «Прибыль в 400% будет принесена в жертву потере в 35%». Установив в качестве математика это странное положение, он объясняет его нам с точки зрения экономиста.

«Общественная прибыль, равная 400, представляет для индивида, — если общество состоит только из миллиона человек, — четыре десятитысячных». Согласен; но ведь дело идет не о 400, а о 400%; прибыль же в 400% и для индивида представляет не больше не меньше как 400%. Каков бы ни был капитал, дивиденды всегда будут в этом случае равняться 400%. Что же делает г. Прудон? Он принимает проценты за капитал и, точно опасаясь, что наделанная им путаница окажется недостаточно очевидной и не вполне «осязательной», продолжает:

«Понесенная потребителем потеря в 33% предполагала бы общественный дефицит в 33 миллиона». Понесенная одним потребителем потеря в 33% останется потерей в 33% и для миллиона потребителей. Как же г. Прудон может с каким-нибудь подобием логики утверждать, что в случае потери, равной 33%, общественный дефицит достигнет 33 миллионов, когда он не знает ни величины общественного капитала, ни даже размеров капитала отдельного заинтересованного лица? Таким образом, г. Прудон не довольствуется тем, что смешивает *капитал* с *процентами*, но превосходит самого

себя, отождествляя *капитал*, вложенный в предприятие, с *числом* заинтересованных в нем лиц.

«В самом деле, предположим для большей наглядности) какой-нибудь определенный капитал. Общественная прибыль в 400%, распределенная между миллионом участников, — внесших по одному франку каждый, — дает 4 франка дохода на человека, а не 0,0004, как думает г. Прудон. Точно так же понесенная каждым из участников потеря в 33% представляет собою общественный дефицит в 330 000 франков, а не в 33 000 000 ( $100 : 33 = 1\ 000\ 000 : 330\ 000$ ).

Всецело занятый своей теорией общества-лица, г. Прудон забывает разделить на 100; он получает, таким образом, 330 000 франков потери; но 4 франка прибыли на человека составляют для общества прибыль в 4 000 000 франков. Итак, чистый доход для общества остается в 3 670 000 франков. Это точное вычисление доказывает как раз противоположное тому, что хотел доказать г. Прудон, а именно, что выгоды и потери общества не стоят вовсе в обратном отношении к выгодам и потерям индивидов.

Исправив эти ошибки простого вычисления, рассмотрим те следствия, к которым мы пришли бы, если бы решились принять для железных дорог указываемое г. Прудонем отношение скорости к капиталу без этих ошибок вычисления. Предположим, что вчетверо более быстрая перевозка стоит вчетверо дороже; в таком случае эта перевозка приносила бы не меньшую прибыль, чем перевозка на подводах, вчетверо более медленная и стоящая вчетверо дешевле. Значит, если перевозка на подводах обходится по 18 сантимов, то железная дорога могла бы брать по 72 сантима. Это было бы следствием из предположений г. Прудона, выведенным со всей «математической точностью» и освобожденным от его ошибок вычисления. Но совершенно неожиданно он объявляет нам, что если бы железная дорога стала брать даже не 72, а только 25 сантимов, то и тогда никто не захотел бы перевозить по ней товары. Конечно, в таком случае пришлось бы вернуться к фурам и даже к телегам. Мы советуем только г. Прудону не забывать производить деление на сто в его «Программе прогрессивной ассоциации». Но увы! У нас нет ни малейшей надежды на то, что наш совет будет услышан, ибо г. Прудон до такой степени очарован своим «прогрессивным» расчетом, соответствующим «прогрессивной ассоциации», что у него вырывается напыщенное восклицание: «Разрешением антиномии стоимости я во второй главе уже показал, что полезное открытие неизмеримо менее выгодно для самого



изобретателя, что бы он ни делал, чем для целого общества; доказательство этой мысли доведено мною *до математической точности!*»

Возвратимся к фикции общества-лица, фикции, введенной с единственной целью доказать ту простую истину, что каждое новое изобретение понижает продажную стоимость продукта, давая возможность посредством того же количества труда производить большее количество товаров. Общество выигрывает, следовательно, не потому, что приобретает большее количество меновых стоимостей, а потому, что приобретает больше товаров за ту же стоимость. Что же касается до изобретателя, то под влиянием конкуренции его прибыль постепенно падает до общего уровня прибыли. Доказал ли г. Прудон это положение, которое он хотел доказать? Нет. Это не мешает ему, однако, упрекнуть экономистов в том, что они оставили это положение недоказанным. Чтобы убедить его в противном, процитируем только Рикардо и Лодердаль. Рикардо — глава школы, определяющей стоимость рабочим временем; Лодердаль — один из ярых защитников определения стоимости спросом и предложением. Но оба они доказывают одно и то же положение.

«Увеличивая непрестанно легкость производства, мы в то же время непрестанно уменьшаем стоимость некоторых из вещей, произведенных прежде, хотя этим самым путем мы увеличиваем не только национальное богатство, но и возможность производить в будущем... Как только с помощью машин или естественных наук мы заставляем силы природы выполнять работу, которая прежде совершалась человеком, так меновая стоимость данной работы вследствие этого понижается. Если до сих пор мельница приводилась в движение трудом десяти человек, и стало известно, что при помощи ветра или воды можно сберечь труд этих людей, то стоимость муки, поскольку последняя является продуктом работы мельницы, понизилась пропорционально количеству сбереженного труда, и общество обогатилось стоимостью вещей, которые могли бы быть произведены трудом этих десяти человек, тогда как фонд, предназначенный на их содержание, ничуть не уменьшился бы» (Рикардо).

С своей стороны, Лодердаль говорит:

«Прибыль на капиталы получается или вследствие того, что они берут на себя ту часть работы, которая иначе должна была бы выполняться руками людей, или вследствие того, что капиталы выполняют часть работы, которая превысила

бы личные силы человека и оказалась бы для него невыполнимою. Незначительность прибыли, достигающейся владельцам машин, по сравнению ее с ценой труда, ими замещаемого, даст, быть может, повод усомниться в правильности нашего взгляда. Так, например, паровой насос в один день выкачивает из каменноугольной копи больше воды, чем могли бы вынести на своих спинах триста человек, если бы даже они пользовались бадьями; и не подлежит никакому сомнению, что насос выполняет эту работу с гораздо меньшими издержками. То же можно сказать и относительно всех других машин. Они выполняют по удешевленной цене тот труд, который совершался прежде руками замещенных ими людей... Предположим, что изобретатель машины, заменяющей труд четырех человек, получил патент; так как вследствие исключительной привилегии у него не может быть иной конкуренции, кроме рабочих рук, то ясно, что, пока длится привилегия, он должен сообразовать цену своих продуктов с заработной платой замещенных его машиной рабочих; следовательно, чтобы обеспечить себе заказы, изобретатель должен требовать за машины немного меньше, чем составляет заработная плата за труд, замещенный машинами. Но, как только кончается срок привилегии, появляются другие машины того же самого рода и вступают в конкуренцию с его собственной. Тогда он будет регулировать свою цену на основании общего принципа, ставя ее в зависимость от изобилия машин. Прибыль на затраченный капитал... хотя и является результатом замещенного труда, но в окончательном счете она регулируется не стоимостью этого труда, но, как во всех других случаях, конкуренцией между владельцами вложений; сила же такой конкуренции всегда определяется отношением между количеством предлагаемых для данной цели капиталов и спросом на них».

В конце концов окажется, следовательно, что до тех пор, пока в новой отрасли промышленности прибыль будет выше, нежели в остальных, всегда найдутся капиталы, которые будут в эту отрасль перебрасываться, пока процент прибыли не упадет до общего уровня.

Мы только что видели, насколько пример железных дорог способен пролить хоть какой-нибудь свет на фикцию общества-лица. Однако г. Прудон смело продолжает свое рассуждение: «Коль скоро выяснена эта сторона дела, — нет ничего легче, как объяснить, почему труд каждого производителя должен приносить ему излишек».

То, что за этим следует, относится к области классической древности. Это — поэтический рассказ, который дает возможность отдохнуть читателю, утомленному строгой точностью предшествовавших математических доказательств. Г-н Прудон дает своему обществу-лицу имя *Прометей* и следующим образом прославляет его высокие подвиги:

«Сначала, выйдя из недр природы, Прометей пробуждается к жизни в бездействии, полном прелести и т. д., и т. д. Но вот Прометей принимается за дело, и с первого же дня, первого дня второго творения, продукт Прометея, т. е. его богатство, благосостояние, равняется десяти. На второй день Прометей приходит к разделению своего труда, и его продукт возрастает до ста. На третий и в каждый из следующих дней Прометей изобретает машины, открывает новые, полезные свойства тел, новые силы природы... С каждым шагом его промышленной деятельности увеличивается цифра его производства и возвещает ему рост его счастья. Наконец, так как для него потреблять — значит производить, то ясно, что каждый день потребления, унося с собою лишь продукт предыдущего дня, оставляет ему излишек этого продукта для завтрашнего потребления».

Престранная особа этот Прометей г. Прудона! Он так же слаб в логике, как и в политической экономии. Поскольку он ограничивается тем, что поучает нас, каким образом разделение труда, применение машин, использование сил природы и сил науки увеличивают производительные силы людей и дают излишек по сравнению с продуктом изолированного труда, постольку несчастье этого нового Прометея состоит лишь в том, что он является слишком поздно. Но, как только Прометей пускается в рассуждение о производстве и потреблении, — он положительно делается смешным. Потреблять для него — значит производить; он на другой день потребляет то, что произвел накануне, и, таким образом, всегда имеет один рабочий день в запасе; этот запасный день и составляет его «излишек труда». Но, потребляя сегодня то, что он произвел вчера, Прометей должен был в первый день, не имевший предыдущего, поработать сразу на два дня, чтобы иметь затем один рабочий день в запасе. Как мог он достичь этого излишка в первый день, когда не было ни разделения труда, ни машин, ни знакомства с другими силами природы, кроме силы огня? Таким образом, если вопрос отодвигается к «первому дню второго творения», то от этого дело не двигается вперед ни на шаг. Этот отчасти греческий, отчасти еврейский, одновременно и мистический и

аллегорический прием объяснения явлений дает г. Прудону полное право сказать: «Я доказал как с помощью теоретических соображений, так и посредством фактов принцип, согласно которому всякий труд должен оставлять излишек».

Факты — это знаменитое прогрессивное вычисление; роль теории играет миф о Прометее.

«Но этот принцип, обладающий несомненностью арифметических истин, осуществлен еще далеко не для всех, — продолжает г. Прудон. — В то время как прогресс коллективной промышленности постоянно увеличивает продукт каждого индивидуального рабочего дня и необходимым следствием этого увеличения должно бы быть, при условии сохранения прежней заработной платы, постепенное обогащение работника, — мы видим, что некоторые группы общества наживаются, другие же гибнут от нищеты».

В 1770 г. население Соединенного королевства Великобритании достигало 15 миллионов, производительная же часть населения составляла 3 миллиона. Производительная сила технических усовершенствований соответствовала приблизительно 12 миллионам человек; следовательно, общая сумма производительных сил равнялась 15 миллионам. Таким образом, производительные силы относились к населению, как 1 к 1, производительность же технических усовершенствований относилась к производительности ручного труда, как 4 к 1.

В 1840 г. население не превосходило 30 миллионов, его производительная часть равнялась 6 миллионам, тогда как производительность технических усовершенствований достигла 650 миллионов, т. е. относилась ко всему населению, как 21 к 1, к производительности же ручного труда — как 108 к 1.

Производительность рабочего дня в английском обществе увеличилась, следовательно, в течение семидесяти лет на 2 700 процентов, т. е. в 1840 г. было произведено в двадцать семь раз больше, чем в 1770 г. Г-н Прудон должен был бы спросить: почему английский рабочий 1840 г. не сделался в двадцать семь раз богаче рабочего 1770 г.? Такой вопрос заранее, конечно, предполагает, что англичане могли бы произвести все это богатство помимо тех исторических условий, при которых оно было произведено, т. е. без накопления частных капиталов, без современного разделения труда, без употребления машин, без анархической конкуренции, без наемных рабочих рук, словом, без всего того, что основывается на антагонизме классов. Но именно эти-то условия и были как раз необходимы для развития

производительных сил и возрастания излишка продуктов. Следовательно, чтобы достигнуть такого развития производительных сил и получить такой излишек продуктов, необходимо было существование классов, из которых одни наживаются, другие же гибнут от нищеты.

Но что же такое, наконец, этот воскрешенный г. Прудон Прометей? Это — общество, это — основанные на антагонизме классов общественные отношения, т. е. не отношения одного индивида к другому индивиду, а отношение рабочего к капиталисту, арендатора к землевладельцу и т. д. Устраните эти общественные отношения, и вы уничтожите все общество. Ваш Прометей превратится в привидение без рук и без ног, т. е. без автоматической мастерской и без разделения труда, наконец, без всего того, чем вы его с самого начала снабдили для получения им излишка продуктов.

Если в теории было достаточно, — как это и делает г. Прудон, — дать уравнительную интерпретацию формулы излишка продуктов труда, не принимая во внимание современных условий производства, то и на практике было бы достаточно провести среди рабочих уравнительное распределение всех приобретенных теперь богатств, ничего не изменяя в современных условиях производства. Такой дележ не обеспечил бы, конечно, каждому из его участников особенно большого благополучия.

Однако г. Прудон вовсе не такой пессимист, каким он может показаться. Так как для него все дело сводится к пропорциональности, то во всеоружии явившемся Прометее, т. е. в современном обществе, он должен волей-неволей усматривать начало осуществления своей излюбленной идеи.

«Но прогресс богатства, т. е. *пропорциональность стоимостей*, везде является господствующим законом; и когда экономисты противопоставляют жалобам социалистической партии усиливающийся рост общественного благосостояния и облегчение положения даже самых несчастных классов общества, то, сами того не подозревая, они провозглашают истину, осуждающую их же теории».

Что такое в сущности коллективное богатство, общественное благосостояние? Это — богатство буржуазии, но не богатство каждого отдельного буржуа. Прекрасно! Но экономисты только доказали, что при существующих условиях производства выросло и должно еще более расти богатство буржуазии. Что же касается рабочего класса, то большой еще вопрос — улучшилось ли его положение вследствие увеличения так называемого общественного богатства. Когда

в защиту своего оптимизма экономисты ссылаются на пример английских рабочих, занятых в хлопчатобумажной промышленности, то они рассматривают их положение лишь в редкие моменты процветания торговли. К эпохам кризиса и застоя такие моменты находятся в «правильно-пропорциональном» отношении 3 к 10. Или, говоря об улучшении, экономисты, быть может, имеют в виду те миллионы рабочих, которые должны были погибнуть в Ост-Индии, чтобы доставить 1½ миллионам занятых в той же отрасли промышленности английских рабочих 3 года процветания в каждые 10 лет?

Что касается временного участия в росте общественного богатства, то это — вопрос другой. Факт этого временного участия объясняется теорией экономистов. Он является подтверждением этой теории, но никоим образом не «осуждением» ее, как об этом говорит г. Прудон. Если что-нибудь и подлежит осуждению, то это, конечно, система г. Прудона, которая, как мы доказали, обрекает рабочих на минимум заработной платы, несмотря на рост богатства. Только обрекая их на получение минимума заработной платы, Прудон мог применить к труду принцип правильной пропорциональности стоимостей, принцип «стоимости, конституированной» рабочим временем. Лишь потому, что вследствие конкуренции заработная плата колеблется между верхней и нижней границей цены жизненных средств, необходимых для существования рабочего, этот последний может в некоторой, хотя бы самой ничтожной, степени воспользоваться ростом общественного богатства; но именно потому он может также погибать от нищеты. Это и есть вся теория экономистов, свободных от каких бы то ни было иллюзий.

После долгих отступлений по вопросу о железных дорогах, о Прометее и о новом обществе, которое нужно переконституировать на основе «конституированной стоимости», г. Прудон впадает в сосредоточенное настроение, им овладевает волнение, и он восклицает отеческим тоном:

*«Я заклинаю экономистов хотя бы на миг спросить себя, отказавшись в глубине души от смущающих их предрассудков, от забот о занимаемых или ожидаемых ими должностях, об интересах, которым они служат, об избирательных голосах, которых они добиваются, об отличиях, льстящих их тщеславию, — спросить себя и сказать: представлялся ли им до сих пор принцип, в силу которого всякий труд должен давать излишек, со всею цепью сделанных нами предпосылок и выводов?»*

## ГЛАВА ВТОРАЯ

# МЕТАФИЗИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

### § I. МЕТОД

Теперь мы в самом сердце Германии! Рассуждая о политической экономии, мы должны будем в то же самое время рассуждать о метафизике. И в этом случае мы последуем лишь за «противоречиями» г. Прудона. Только что заставлял он нас говорить по-английски, превращаться до известной степени в англичанина. Теперь сцена меняется. Г-н Прудон переносит нас в наше дорогое отечество и заставляет нас опять превратиться в немца — против нашей воли.

Если англичанин превращает людей в шляпы, то немец превращает шляпы в идеи. Англичанин — это Рикардо, богатый банкир и выдающийся экономист; немец — это Гегель, скромный профессор философии в Берлинском университете.

Людовик XV, последний король эпохи абсолютизма и представитель упадка французской монархии, имел лейб-медика, который был первым экономистом Франции. Этот медик, этот экономист был провозвестником неминуемого и верного торжества французской буржуазии. Доктор Кенэ сделал из политической экономии науку; он резюмировал ее в своем знаменитом сочинении «*Tableau économique*» [«*Экономическая таблица*»]. Кроме тысячи и одного комментария, которые были написаны к этой таблице, мы имеем комментарий, автором которого был сам доктор. Это — «*L'analyse du tableau économique*» [«*Анализ экономической таблицы*»], сопровождаемый «семью важными замечаниями».

Г-н Прудон является вторым доктором Кенэ. Он — Кенэ метафизики политической экономии.

Но метафизика, как и вся философия, резюмируется, по мнению Гегеля, в методе. Мы должны, следовательно, постараться выяснить метод г. Прудона, по меньшей мере столь же туманный, как и «*Tableau économique*». С этой целью мы сами сделаем семь более или менее важных замечаний. Если доктор Прудон останется недоволен нашими замечаниями, то в таком случае он может принять на себя роль аббата Бодо и сам написать «объяснение экономико-метафизического метода».

#### Замечание первое

«Мы излагаем здесь не ту историю, которая соответствует порядку времен, а ту, которая соответствует последовательности идей. Экономические фазы или категории бывают то одновременны в своих проявлениях, то идут в обратном порядке... Тем не менее экономические теории имеют свою логическую последовательность и свою связь [ряд] в уме [*série dans l'entendement*]: именно эту-то связь и последовательность нам и удалось, как мы думаем, открыть» (Прудон, т. I, стр. 145 и 146).

Решительно г. Прудон хотел нагнать страху на французов, забрасывая их этими, будто бы гегельянскими, фразами. Оказывается, что мы имеем теперь дело уже с двумя писателями: во-первых, с г. Прудоном, а во-вторых, с Гегелем. Чем отличается г. Прудон от других экономистов? Какую роль играет Гегель в политической экономии г. Прудона?

Экономисты изображают отношения буржуазного производства — разделение труда, кредит, деньги и т. д. — как застывшие, неподвижные, вечные категории. Г-н Прудон, который имеет перед собою эти категории в совершенно законченном виде, хочет объяснить нам акт образования, происхождение всех этих категорий, принципов, законов, идей, мыслей.

Экономисты объясняют нам, как совершается производство при этих данных отношениях; но у них остается невыясненным способ производства самих этих отношений, т. е. то историческое движение, которое их порождает. Так как г. Прудон принимает эти отношения за принципы, за категории, за абстрактные мысли, то ему остается лишь привести в порядок эти мысли, которые уже расположены в алфавитном порядке в конце любого трактата по политической экономии. Материалом для экономистов служит деятельная



и подвижная [agissante] человеческая жизнь; материалом для г. Прудона служат догмы экономистов. Но раз мы упускаем из виду историческое развитие производственных отношений, для которых категории служат лишь теоретическим выражением, раз мы видим в этих категориях лишь идеи, самопроизвольные мысли, независимые от действительных отношений, то мы вынуждены определять происхождение этих мыслей движением чистого разума. Как порождает эти мысли чистый, вечный, безличный разум? Каким образом создает он их?

Если бы по отношению к гегельянству мы обладали неустрашимостью г. Прудона, то мы сказали бы, что разум различается в самом себе от самого себя. Что это значит? Так как безличный разум не имеет вне себя ни почвы, на которую он мог бы стать, ни объекта, которому он мог бы себя противопоставлять, ни субъекта, с которым он мог бы сочетаться, то он поневоле должен делать прыжки, ставя самого себя, противопоставляя себя самому же себе и сочетаясь с самим собою: положение, противоположение, сложение, или, говоря по-гречески, мы имеем: тезис, антитезис, синтез. Что касается читателей, не знакомых с гегельянским языком, то мы раскроем им таинственную формулу: она означает утверждение, отрицание, отрицание отрицания. Вот смысл этих слов. Это, конечно, не тарабарщина, с позволения г. Прудона, а язык этого столь чистого разума, взятого отдельно от индивида. Вместо обыкновенного индивида, с его обыкновенной манерой говорить и мыслить, мы имеем здесь не что иное, как эту обыкновенную манеру в ее чистом виде, без самого индивида.

Можно ли удивляться тому, что в последней степени абстракции, — так как мы имеем здесь дело с абстракцией, а не с анализом, — всякая вещь является в виде логической категории? Можно ли удивляться тому, что, устраняя мало-помалу все, составляющее индивидуальную особенность [l'individualisme] данного дома, отвлекаясь от материалов, из которых он построен, от формы, которая его отличает от других, — мы получаем, наконец, лишь тело вообще; что, отвлекаясь от границ этого тела, мы имеем в результате лишь пространство; что, отвлекаясь от измерений этого пространства, мы приходим, наконец, к тому, что имеем дело лишь с количеством в чистом виде, с логической категорией [количества]? Последовательно отвлекаясь таким образом от всякого субъекта [sujet], от всех его так называемых по-

бочных признаков, одушевленных или неодушевленных, людей или вещей, — мы имеем основание сказать, что в последней степени абстракции у нас есть лишь логические категории как единственная субстанция. Так, метафизики, вообразившие, что они анализируют, производя абстракции, и что они проникают в предметы, все более и более удаляясь от них, — эти метафизики по-своему правы, говоря, что в нашем мире вещи представляют собою лишь узоры, для которых логические категории служат канвой. Тем-то и отличается философ от христианина, что христианин знает лишь одно воплощение *Logos'a* [«Слова»], вопреки логике; у философа нет конца этим воплощениям. Все существующее, все живущее на земле или под водой может быть сведено с помощью абстракции к логической категории; удивительно ли, что весь реальный мир может, таким образом, потонуть в мире абстракций, в мире логических категорий?

Все существующее, все живущее на земле или под водой существует, живет лишь в силу известного движения. Так, движение истории создает общественные отношения, движение промышленности дает нам промышленные продукты и т. д.

Как посредством абстракции мы превращаем всякую вещь в логическую категорию, точно так же стоит нам только отвлечься от всяких отличительных признаков различных родов движения, чтобы притти к движению в абстрактном виде, к чисто формальному движению, к чисто логической формуле движения. И если в логических категориях мы видим субстанцию всех вещей, то нам не трудно вообразить, что в логической формуле движения мы нашли *абсолютный метод*, который не только объясняет каждую вещь, но и включает в себя движение каждой вещи.

Об этом абсолютном методе Гегель выражается следующим образом: «Метод есть абсолютная, единственная, высшая, бесконечная сила, которой ничто не может противостоять; это стремление разума найти и познать себя в каждой вещи» (*Логика*, т. III). Если всякая вещь сводится к логической категории, а всякое движение, всякий акт производства — к методу, то отсюда само собою следует, что всякая совокупность продуктов и производства, предметов и движения сводится к прикладной метафизике. Г-н Прудон пытается сделать для политической экономии то же, что Гегель сделал для религии, права и т. д.

Итак, что же такое абсолютный метод? Абстракция движения. Что такое абстракция движения? Движение в абстрактном виде. Что такое движение в абстрактном виде? Чисто логическая формула движения или движение чистого разума. В чем состоит движение чистого разума? В том, что он полагает себя, противопоставляет себя самому себе и сочетается с самим собою, в том, что он формулируется в тезис, антитезис и синтез или, наконец, в том, что он себя утверждает, себя отрицает и отрицает свое отрицание.

Но каким образом утверждает себя разум, каким образом он ставит себя как определенную категорию? Это уж дело самого разума и его апологетов.

Но раз он поставил себя как тезис, этот тезис, эта мысль, противопоставляясь сама себе, расчленяется на две мысли, противоречащие одна другой, — на положение и отрицание, на да и нет. Борьба этих двух заключающихся в антитезисе антагонистических элементов образует диалектическое движение. Да превращается в нет, нет превращается в да, да становится одновременно и да и нет, нет становится одновременно и нет и да. Таким путем противоположности взаимно уравниваются, нейтрализуются и парализуются. Слияние этих двух мыслей, противоречащих одна другой, образует новую мысль — их синтез. Эта новая мысль опять расчленяется на две противоречивые мысли, которые, в свою очередь, сливаются в новом синтезе. Этот процесс рождения создает группу мыслей. Группа мыслей подчиняется тому же диалектическому движению, как и простая категория, и имеет в качестве своего антитезиса другую, противоположную ей группу. Из этих двух групп мыслей рождается новая группа мыслей — их синтез.

Как из диалектического движения простых категорий рождается группа, так из диалектического движения групп возникает ряд, а диалектическое движение рядов порождает всю систему в целом.

Примените этот метод к категориям политической экономии, и вы получите логику и метафизику политической экономии, или, другими словами, вы переведете всем известные экономические категории на мало известный язык, благодаря которому они получают такой вид, как будто бы только что развернулись в голове, полной чистого разума: до такой степени эти категории кажутся порождающими друг друга, связанными и переплетенными одни с другими посредством одного только диалектического движения. Пусть

читатель не пугается этой метафизики со всем ее нагромождением категорий, групп, рядов и систем. Несмотря на величайшее старание взять приступом высоты *системы противоречий*, г. Прудон никогда не мог подняться выше двух первых ступеней: простых тезиса и антитезиса, да и сюда он доходил лишь два раза, причем из этих двух раз он один раз перекувыркнулся.

До сих пор мы излагали только диалектику Гегеля. Ниже мы увидим, каким образом г. Прудону удалось свести ее к самым жалким размерам. По мнению Гегеля, все, что происходило, и все, что происходит еще в мире, тождественно с тем, что происходит в его собственном мышлении. Таким образом, философия истории оказывается лишь историей философии, и притом — его собственной философии. Нет более истории, «соответствующей порядку времени»; существует лишь «последовательность идей в уме». Он воображает, что строит мир посредством движения мысли; между тем как в действительности он лишь систематически перестраивает и располагает, согласно своему абсолютному методу, те мысли, которые имеются в голове у каждого.

#### З а м е ч а н и е   в т о р о е

Экономические категории представляют собою лишь теоретические выражения, абстракции общественных отношений производства. Как истинный философ, г. Прудон понимает вещи наизуот и видит в действительных отношениях лишь воплощение тех принципов, тех категорий, которые дремали, как сообщает нам тот же г. Прудон-философ, в недрах «безличного разума человечества».

Г-н Прудон-экономист очень хорошо понял, что люди выделывают сукно, полотно, шелковые ткани при определенных производственных отношениях. Но он не понял того, что эти определенные общественные отношения так же произведены людьми, как и полотно, лен и т. д. Общественные отношения тесно связаны с производительными силами. Приобретая новые производительные силы, люди изменяют свой способ производства, а с изменением способа производства, способа обеспечения своей жизни, они изменяют все свои общественные отношения. Ручная мельница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница — общество с промышленным капиталистом.

Те же самые люди, которые устанавливают общественные отношения соответственно их материальному производству,

создают также принципы, идеи и категории соответственно своим общественным отношениям.

Таким образом, эти идеи, эти категории столь же мало вечны, как и выражаемые ими отношения. Они представляют собою *исторические и преходящие продукты*.

Непрерывно совершается движение роста производительных сил, разрушение общественных отношений, возникновение идей, неподвижна лишь абстракция движения — *mors immortalis [бессмертная смерть]*.

### Замечание третье

В каждом обществе производственные отношения образуют одно целое. Г-н Прудон рассматривает экономические отношения как соответственное количество общественных фаз, которые порождают одна другую, вытекают одна из другой, как антитезис из тезиса, и в своей логической последовательности осуществляют безличный разум человечества.

Единственное неудобство этого метода состоит в том, что, принимаясь за исследование одной из этих фаз, г. Прудон не может объяснить ее без помощи всех других общественных отношений, тех самых отношений, которые он не успел еще вызвать к жизни посредством своего диалектического движения. А когда г. Прудон переходит затем, с помощью чистого разума, к порождению других фаз, то он обращается с этими последними, как с новорожденными детьми, забывая, что они столь же стары, как и первая фаза.

Таким образом, чтобы конституировать стоимость, которая есть, по его мнению, основа всякого экономического развития, он не мог обойтись без разделения труда, без конкуренции и т. д. А между тем, эти отношения не существовали еще *в ряду, в уме* г. Прудона, в *логической последовательности*.

Воздвигая из политико-экономических категорий здание идеологической системы, мы разъединяем между собою различные звенья общественной системы. Мы превращаем различные звенья общества в соответственное число отдельных обществ, следующих одно за другим. В самом деле, каким образом простая логическая формула движения, последовательности, времени могла бы служить для объяснения общественного тела, в котором все отношения существуют одновременно и опираются одно на другое?

Посмотрим теперь, каким видоизменениям подвергает г. Прудон гегелевскую диалектику, прилагая ее к политической экономии.

По его, г. Прудона, мнению, всякая экономическая категория имеет две стороны: хорошую и дурную. Он рассматривает категории, как мелкий буржуа рассматривает великих исторических деятелей: *Наполеон* — великий человек; он сделал много добра, но он принес также много зла.

Взятые вместе *хорошая сторона* и *дурная сторона*, *польза* и *вред* составляют, по мнению г. Прудона, *противоречие*, свойственное каждой экономической категории.

Необходимо решить следующую задачу: сохранить хорошую сторону, устраняя дурную.

*Рабство* есть такая же экономическая категория, как и всякая другая. Следовательно, оно также имеет свои две стороны. Оставим дурную сторону рабства и займемся прекрасной его стороной. Само собою разумеется, что при этом речь идет лишь о прямом рабстве, рабстве чернокожих в Суринаме, в Бразилии, в южных штатах Северной Америки.

Подобно машинам, кредиту и т. д., прямое рабство является основой буржуазной промышленности. Без рабства не было бы хлопка; без хлопка немислима современная промышленность. Рабство придало значение колониям, колонии создали мировую торговлю, мировая торговля есть необходимое условие крупной промышленности. Следовательно, рабство представляет собою в высшей степени важную экономическую категорию.

Без рабства Северная Америка, страна наиболее быстрого прогресса, превратилась бы в патриархальную страну. Сотрите Северную Америку с карты земного шара, — и вы произведете анархию, полный упадок современной торговли и цивилизации. Уничтожьте рабство, — и вы сотрете Америку с карты народов <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Для 1847 г. это было совершенно справедливо. В то время торговля Соединенных Штатов с остальным миром ограничивалась главным образом ввозом иммигрантов и продуктов промышленности и вывозом хлопка и табака, т. е. продуктов рабского труда Юга. Северные штаты производили главным образом хлеб и мясо для рабовладельческих штатов. Отмена рабства стала возможна лишь с того времени, как Север начал производить хлеб и мясо для вывоза и сделался промышленной страной, а хлопковая монополия Америки встретила сильную конкуренцию со стороны Индии, Египта, Бразилии и т. д. Да и тогда следствием этой отмены было разорение Юга, которому не удалось за-

Так как рабство есть экономическая категория, то оно всегда входило в число учреждений различных народов. Новейшие народы сумели лишь замаскировать рабство в своей собственной стране, а в Новом Свете ввели его без всякой маскировки.

Что предпримет г. Прудон для спасения рабства? Он предложит *задачу*: сохранить хорошую сторону этой экономической категории и устранить дурную.

Гегель не ставит проблем. У него есть лишь диалектика. Г-н Прудон заимствовал из диалектики Гегеля только язык. Диалектическое движение для самого Прудона состоит лишь в догматическом различении хорошего от дурного.

Примем на время самого г. Прудона за категорию. Исследуем его хорошую и дурную стороны, его преимущества и недостатки.

Если, сравнительно с Гегелем, он обладает преимуществом ставить проблемы, которые он предоставляет себе право разрешать для вящего блага человечества, то он имеет также и недостаток: обнаруживает полнейшее бесплодие там, где речь идет о порождении при помощи диалектики какой-либо новой категории. Сосуществование двух взаимнопротиворечащих сторон, их борьба и их превращение в новую категорию составляют сущность диалектического движения. Если вы ограничиваетесь лишь тем, что ставите себе задачу устранения дурной стороны, то вы разом кладете конец диалектическому движению. Вы имеете дело уже не с категорией, которая полагает себя и противопоставляется самой себе в силу своей противоречивой природы; вы имеете дело лишь с г. Прудоном, который бьется, мучается и выбивается из сил между двумя сторонами категории.

Попавши таким образом в тупик, из которого трудно выбраться с помощью законных средств, г. Прудон делает отчаянное усилие и одним прыжком переносится в область новой категории. Тогда-то раскрывается пред его восхищенными очами *ряд в уме*.

Он схватывает первую попавшуюся категорию и произвольно приписывает ей свойство устранять неудобства категории, подлежащей очищению. Так, налоги устраняют, если верить г. Прудону, неудобства монополии, торговый баланс — неудобства налогов, земельная собственность — неудобства кредита.

---

менять открытое рабство негров замаскированным рабством индийских и китайских кули. — Ф. Э.

Перебирая, таким образом, последовательно все экономические категории одну за другой и делая одну категорию *противоядием* по отношению к другой, г. Прудон сочиняет с помощью этой смеси противоречий и противоядий от противоречий два тома противоречий, которые он справедливо называет «*Системой экономических противоречий*».

#### Замечание пятое

«В абсолютном разуме все эти идеи... одинаково просты и всеобщы... В действительности мы приходим к науке лишь посредством сооружения из наших идей чего-то вроде *строительных лесов* [*d'échafaudage*]. Но, взятая сама по себе, истина не зависит от этих диалектических фигур и свободна от комбинаций нашего ума» (Прудон, т. II, стр. 97).

Таким образом, неожиданно, посредством крутого поворота, секрет которого нам теперь известен, метафизика политической экономии превратилась в иллюзию! Никогда еще г. Прудон не высказывал более справедливого мнения. Само собою понятно, что раз весь процесс диалектического движения сводится к простому приему противоположения добра злу, к постановке задач, смысл которых заключается в устранении зла и в употреблении одной категории в качестве противоядия по отношению к другой, — то категории утрачивают свое самостоятельное движение; идея «не *функционирует* больше»; в ней уже нет внутренней жизни. Она уже не может ни полагать себя в виде категорий, ни разлагаться на них. Последовательность категорий превращается в какое-то *нагромождение*. Диалектика уже не представляет собою движения абсолютного разума. От диалектики ничего не остается, и на ее месте оказывается в лучшем случае лишь голая мораль.

Когда г. Прудон говорил о *ряде в уме*, о *логической последовательности категорий*, он положительно заявил, что не намеревается излагать *историю*, согласно *порядку времен*, т. е., по мнению Прудона, согласно той исторической последовательности, в которой категории *проявлялись*. Все совершалось тогда у него в *чистом эфире разума*. Все должно было вытекать из этого эфира посредством диалектики. Теперь, когда дело идет о практическом применении этой диалектики, разум изменяет ему. Диалектика г. Прудона приходит в разлад с диалектикой Гегеля, и г. Прудон оказывается вынужденным признать, что *порядок*, в котором он излагает экономические категории, не соответствует тому *порядку*, в котором



они порождают одна другую. Экономические эволюции не являются более эволюциями самого разума.

Что же, однако, дает нам г. Прудон? Действительную историю, т. е., — согласно пониманию г. Прудона, — последовательность, в которой категории *проявлялись* во времени? — Нет. Историю, как она совершается в самой идее? — Еще того менее. Значит, он не дает нам ни светской истории категорий, ни их священной истории! Но какую же историю дает он нам в конце концов? — Историю своих собственных противоречий. Посмотрим же, как шествуют эти противоречия и как они влекут за собою г. Прудона.

Прежде чем приступить к этому исследованию, которое послужит поводом к шестому важному замечанию, мы должны сделать еще одно менее важное замечание.

Предположим вместе с г. Прудоном, что действительная история, история, соответствующая порядку времен, представляет собою ту историческую последовательность, в которой проявлялись идеи, категории и принципы.

Каждый принцип имел особый век для своего проявления. Так, например, принципу авторитета соответствовал XI век, принципу индивидуализма — XVIII век. Рассуждая последовательно, мы должны согласиться, что век принадлежал принципу, а не принцип веку. Другими словами, принцип создавал историю, а не история создавала принцип. Но если, — чтобы спасти как принципы, так и историю, — мы спросим себя, далее, почему же данный принцип проявлялся в XI или в XVIII, а не в каком-нибудь другом веке, то мы будем вынуждены тщательно исследовать, каковы были люди XI века, каковы они были в XVIII, каковы были в каждом из этих веков присущие им нужды, их производительные силы, их способ производства, сырые материалы их производства; каковы, наконец, были те отношения человека к человеку, которые вытекали из всех этих условий существования. Разве глубоко исследовать все эти вопросы не значит написать действительную, обыкновенную историю людей каждого столетия, изобразить этих людей в одно и то же время как авторов и актеров их собственной драмы? Но раз вы изображаете людей как актеров и авторов их собственной истории, вы приходите окольным путем к истинной точке отправления, потому что вы покидаете вечные принципы, от которых вы отправлялись сначала.

Г-н Прудон не подвинулся достаточно далеко даже на том окольном пути, по которому следует идеолог, чтобы выйти на большую дорогу истории.

Последуем за г. Прудонем по окольному пути.

Допустим, что экономические отношения, рассматриваемые как *неизменные законы*, как *вечные принципы*, как *идеальные категории*, предшествовали людям и их деятельности; допустим, кроме того, что эти законы, эти принципы, эти категории испокон века дремали в недрах «безличного разума человечества». Мы уже видели, что все эти неизменные, неподвижные вечности не оставляют места для истории; самое большее, что остается — это история в идее, т. е. история, отражающаяся в диалектическом движении чистого разума. Говоря, что в диалектическом движении идеи уже не *дифференцируются*, г. Прудон уничтожает как всякую *тень движения*, так и всякое *движение теней*, с помощью которых можно было бы создать хоть какое-нибудь подобие истории. Вместо этого он приписывает истории свое собственное бессилие и обвиняет в нем всех и вся, до французского языка включительно. «Говоря, что что-нибудь *случается* или что-нибудь *производится*, мы выражаемся не точно, — сообщает нам г. Прудон-философ, — в цивилизации, как и во вселенной, все существует, все действует от века... *Так же обстоит дело и во всей общественной экономике*» (т. II, стр. 102).

Плодотворная сила противоречий, *функционирующих* и заставляющих функционировать г. Прудона, так велика, что, стремясь объяснить историю, он оказывается вынужденным отрицать ее; стремясь объяснить последовательное появление общественных отношений, он не допускает, чтобы *что-либо* могло *случиться*; желая объяснить производство и все его фазы, он не признает, чтобы *что-либо* могло *производиться*.

Таким образом, для г. Прудона нет больше ни истории, ни последовательности идей; а между тем продолжает существовать его книга, та самая книга, которая, по его собственному выражению, есть не что иное, как *«история, соответствующая последовательности идей»*. Как же найти ту формулу, а г. Прудон — человек формулы, при помощи которой можно *одним прыжком* перепрыгнуть через все эти противоречия?

Для этого он изобрел новый разум, который не является ни абсолютным, чистым и девственным разумом, ни обыкновенным разумом людей, активных и действующих в различные века; это — разум совершенно особого рода,

разум общества-лица, субъекта-человечества, разум, который под пером г. Прудона иногда выступает также в виде «общественного гения», или в виде «всеобщего разума», или, наконец, в виде «человеческого разума». Однако этот обремененный множеством имен разум всякий раз оказывается индивидуальным разумом г. Прудона со всеми его хорошими и дурными сторонами, с его противоядиями и проблемами.

«Человеческий разум не создает истины», таящейся в глубинах абсолютного вечного разума. Он может только открывать ее. Но открытые им до сих пор истины неполны, недостаточны и потому противоречивы. Следовательно, и экономические категории, представляющие собою истины, открытые и разоблаченные человеческим разумом, общественным гением, — также неполны и носят в себе зародыш противоречия. До г. Прудона общественный гений видел лишь *антагонистические элементы* и не находил *синтетической формулы*, хотя и формула и элементы одновременно таятся в *абсолютном разуме*. Экономические отношения, будучи лишь земным осуществлением этих недостаточных истин, этих неполных категорий, этих противоречивых понятий, содержат в себе самих противоречие и представляют две стороны: одну — хорошую, другую — дурную.

Найти законченную истину, понятие во всей его полноте, синтетическую формулу, которая уничтожает антиномию, — такова проблема, которую должен разрешить общественный гений. Вот еще почему тот же самый общественный гений в воображении г. Прудона вынужден был переходить от одной категории к другой, не будучи, однако, до сих пор в состоянии, несмотря на целую батарею своих категорий, вырвать у бога, у абсолютного разума, синтетическую формулу.

«Сначала общество (общественный гений) устанавливает первый факт, выдвигает *гипотезу*... истинную антиномию, антагонистические результаты которой развертываются в общественной экономии совершенно таким же порядком, как их можно духовно вывести в качестве следствий, так что промышленное развитие, следуя во всем за дедукцией идей, подразделяется на два направления: одно из них соответствует полезным, другое — пагубным действиям этого развития... Чтобы гармонически конституировать этот двойственный принцип и разрешить эту антиномию, общество заставляет его породить новую, *вторую антиномию*, за которой вскоре

следует третья, и таково будет *шествие общественного гения* до тех пор, пока, исчерпав все свои противоречия, — а я предполагаю, хотя это и не доказано, что свойственные человечеству противоречия имеют конец, — он не возвратится одним прыжком ко всем своим прежним положениям и не разрешит всех своих задач в *единой формуле*» (т. I, стр. 133).

Как прежде *антитезис* превращался в *противоядие*, так и теперь *тезис* становится *гипотезой*. Но теперь нас уже не удивляет более эта совершаемая г. Прудонем перемена терминов. Человеческий разум, который всего менее чист, так как обладает лишь ограниченным кругозором, на каждом шагу наталкивается на новые задачи, требующие решения. Каждый новый тезис, открытый им в абсолютном разуме и представляющий собою отрицание первого тезиса, становится для него синтезом и довольно наивно принимается им за искомое решение задачи. Так бьется этот разум в постоянно новых противоречиях, пока, приближаясь к концу этих противоречий, он не замечает, что все эти тезисы и синтезы представляют собою не более, как противоречивые гипотезы. В этом своем затруднении «человеческий разум, общественный гений, возвращается одним прыжком ко всем своим прежним положениям и разрешает все свои задачи в единой формуле». Заметим мимоходом, что эта единственная в своем роде формула составляет подлинное открытие г. Прудона. Это — *конституированная стоймость*.

Гипотезы создаются лишь с какою-нибудь определенной целью. Цель, которую прежде всего ставит себе говорящий устами г. Прудона общественный гений, заключается в устранении всего дурного в каждой экономической категории, с тем чтобы осталось только хорошее. Для него добро, высшее благо, истинная практическая цель сводятся к *равенству*. Почему же общественный гений предпочитает равенство неравенству или братству, или католицизму, или какому-либо другому принципу? Потому, что «человечество лишь потому и осуществляло одну за другой столько частных гипотез, что имело в виду одну высшую гипотезу», которая именно и есть равенство. Другими словами, — потому, что равенство есть идеал г. Прудона. Он воображает, что разделение труда, кредит, мастерская, словом, все экономические отношения были изобретены лишь для того, чтобы послужить на пользу равенства, и, однако, они постоянно обращались в конце концов против этого последнего. Из того, что

история и фикция г. Прудона противоречат друг другу на каждом шагу, он заключает о существовании противоречия. Но если противоречие и существует, то лишь между его навязчивой идеей и действительным движением.

Отныне хорошей стороной каждого экономического отношения оказывается та, которая утверждает равенство, дурной — та, которая его отрицает и утверждает неравенство. Всякая новая категория есть гипотеза общественного гения, имеющая целью устранение неравенства, порожденного предыдущей гипотезой. Словом, равенство есть *изначальное намерение, мистическая тенденция, провиденциальная цель*, которую общественный гений никогда не теряет из виду, вращаясь в кругу экономических противоречий. Поэтому *провидение* есть локомотив, с помощью которого весь экономический багаж г. Прудона движется гораздо скорее, чем с помощью его чистого и улетучившегося разума. Наш автор посвятил провидению целую главу, следующую за главой о налогах.

Провидение, провиденциальная цель — вот великое слово, которое употребляется ныне для объяснения хода истории. На деле это слово не объясняет ровно ничего. Это есть не более как риторическая форма, один из многих приемов парафразы фактов.

Известно, что благодаря развитию английской промышленности возросла стоимость земельной собственности в Шотландии. Эта промышленность открыла новые рынки для шерсти. Чтобы производить шерсть в больших размерах, нужно было превратить пахотные поля в пастбища. Чтобы совершить это превращение, нужно было концентрировать собственность. Чтобы концентрировать собственность, нужно было уничтожить мелкие наследственные лены, согнать тысячи фермеров с их родной земли и заменить их несколькими пастухами, пасущими миллионы овец. Таким образом, шотландская земельная собственность, путем своих последовательных превращений, привела к вытеснению людей овцами. Скажите теперь, что провиденциальной целью института шотландской земельной собственности было вытеснение людей овцами, — и вы получите провиденциальную историю.

Конечно, стремление к равенству свойственно нашему веку. Но говорить, что все предшествовавшие столетия с их совершенно различными потребностями, средствами производства и т. д. провиденциально действовали для

осуществления равенства, говорить это — значит, прежде всего, ставить людей и средства нашего века на место людей и средств предшествовавших столетий, а, кроме того, это значит не признавать того исторического движения, посредством которого различные поколения преобразовывали результаты, добытые предшествовавшими им поколениями. Экономисты очень хорошо знают, что та же самая вещь, которая является обработанным продуктом для одного лица, другому служит лишь сырым материалом для нового производства.

Предположите вместе с г. Прудонем, что общественный гений произвел или, вернее, импровизировал феодальных сеньюров, имея в виду провиденциальную цель превратить *колонов*<sup>1</sup> в *отвечающих за дело и равных между собою работников*, и вы сделаете подстановку целей и лиц, вполне достойную того самого провидения, которое создало шотландскую земельную собственность, чтобы доставить себе случай позлорадствовать при вытеснении людей овцами.

Но так как г. Прудон относится к провидению со столь нежным участием, то мы отсылаем его к «*L'Histoire de l'Économie politique*» [*Истории политической экономии*] г. Вильнева-Баржмона, который также стремится к провиденциальной цели. Но его целью является уже не равенство, а — католицизм.

#### Замечание седьмое и последнее

Экономисты употребляют очень странный прием в своих рассуждениях. Для них существует только два рода учреждений: одни — искусственные, другие — естественные. Феодальные учреждения — искусственны, буржуазные — естественны. В этом случае экономисты похожи на теологов, которые также устанавливают два рода религий. Всякая религия, помимо их религии, является, по их мнению, выдумкой людей, тогда как их собственная религия есть эманация бога. Говоря, что существующие отношения, — отношения буржуазного производства, — являются естественными, экономисты хотят этим сказать, что это именно те отношения, при которых богатство создается и производи-

.....  
<sup>1</sup> Колоном в Римской империи III—VI вв. назывался земледелец, прикрепленный к земле. Это была своеобразная форма крепостной зависимости, при которой земледелец имел некоторые права личной свободы. — *Ред.*

тельные силы развиваются сообразно законам природы. Следовательно, сами эти отношения являются не зависящими от влияния времени естественными законами. Это — вечные законы, которые должны всегда управлять обществом. Таким образом, до сих пор была история, а теперь ее более нет. История была — потому что были феодальные учреждения и потому что в этих феодальных учреждениях мы находим производственные отношения, совершенно отличные от производственных отношений буржуазного общества, выдаваемых экономистами за естественные и потому вечные.

Феодализм также имел свой пролетариат — крепостное сословие [servage], заключавшее в себе все зародыши буржуазии. Феодальное производство также имело два антагонистических элемента, которые равным образом называют *хорошей* и *дурной стороной* феодализма, не замечая при этом, что в конце концов дурная сторона всегда берет верх над хорошей. Именно дурная сторона, порождая борьбу, создает движение, которое образует историю. Если бы в эпоху господства феодализма экономисты, вдохновленные рыцарскими добродетелями, прекрасной гармонией между правами и обязанностями, патриархальной жизнью городов, процветанием домашней промышленности в деревнях, развитием промышленности, организованной в корпорации, гильдии и цехи, словом, если бы они, вдохновленные всем тем, что составляет хорошую сторону феодализма, поставили себе задачей устранить все то, что бросает тень на эту картину, — крепостное состояние, привилегии, анархию, — что бы из этого получилось? Все элементы, порождающие борьбу, были бы уничтожены, развитие буржуазии было бы пресечено в самом зародыше. Экономисты поставили бы себе нелепую задачу устранить историю.

Когда взяла верх буржуазия, то уже не было более речи ни о хорошей, ни о дурной стороне феодализма. Буржуазия вступила в обладание производительными силами, развитыми ею при господстве феодализма. Все старые экономические формы, все соответствовавшие им гражданские отношения, политический порядок, служивший официальным выражением старого гражданского общества, были разбиты.

Таким образом, чтобы правильно судить о феодальном производстве, нужно рассматривать его как способ производства, основанный на антагонизме. Нужно показать, как создавалось богатство в этой основанной на антагонизме

среде, как развивались производительные силы одновременно с антагонизмом классов, как один из этих классов, — представлявший собою дурную, отрицательную сторону общества, — неуклонно рос до тех пор, пока не созрели, наконец, материальные условия его освобождения. Но, поступая таким образом, не признаете ли вы, что способы производства, те отношения, при которых развиваются производительные силы, менее всего являются вечными законами, а соответствуют определенному развитию людей и их производительных сил; не признаете ли вы также, что всякое изменение производительных сил людей необходимо ведет за собою изменение в их производственных отношениях? Так как важнее всего не лишиться плодов цивилизации, — приобретенных производительных сил, — то надо разбить традиционные формы, в которых они были произведены. С этого момента прежний революционный класс становится консервативным.

Буржуазия возникает вместе с пролетариатом, который, в свою очередь, есть остаток пролетариата феодальных времен. В ходе своего исторического развития буржуазия неизбежно развивает свой антагонистический характер, который вначале более или менее замаскирован, существует лишь в скрытом состоянии. По мере развития буржуазии в недрах ее развивается новый пролетариат, современный пролетариат; между классом пролетариата и классом буржуазии завязывается борьба, которая, прежде чем обе стороны ее почувствовали, заметили, оценили, поняли, признали и громко провозгласили, проявляется предварительно лишь в частичных и кратковременных конфликтах, в разрушительных действиях. С другой стороны, если все члены современной буржуазии имеют один и тот же интерес, поскольку они образуют класс, противостоящий другому классу, то интересы их противоположны, антагонистичны, поскольку они противостоят друг другу. Эта противоположность интересов вытекает из экономических условий их буржуазной жизни. Таким образом, с каждым днем становится все более и более очевидным, что характер тех производственных отношений, в пределах которых совершается движение буржуазии, отличается двойственностью, а вовсе не единообразием и простотой; что при тех же самых отношениях, при которых производится богатство, производится также и нищета; что при тех же самых отношениях, при которых совершается развитие производительных сил, развивается также и сила, производящая угнетение; что эти отношения создают *буржуазное богатство*, т. е. богатство



буржуазного класса, лишь при условии непрерывного уничтожения богатства отдельных членов этого класса и образования постоянно растущего пролетариата.

Чем более обнаруживается этот антагонистический характер, тем более экономисты, как научные представители буржуазного производства, приходят в разлад со своей собственной теорией, и образуются различные школы.

Есть экономисты *фаталисты*, которые так же равнодушны в своей теории к тому, что они называют неудобствами буржуазного производства, как сами буржуа нечувствительны на практике к страданиям пролетариев, с помощью которых они приобретают свои богатства. Эта фаталистическая школа имеет своих классиков и своих романтиков. Классики — как, например, Адам Смит и Рикардо — являются представителями той буржуазии, которая, находясь еще в борьбе с остатками феодального общества, стремилась лишь очистить экономические отношения от феодальных пятен, увеличить производительные силы и придать новый размах промышленности и торговле. Пролетариат, принимающий участие в этой борьбе и поглощенный этой лихорадочной деятельностью, знает в этом периоде только преходящие, случайные бедствия и сам смотрит на них как на таковые. Миссия экономистов, вроде Адама Смита и Рикардо, являющихся историками этой эпохи, состоит лишь в том, чтобы уяснить, каким образом приобретается богатство при отношениях буржуазного производства, сформулировать эти отношения в виде категорий и законов и показать, насколько эти законы, эти категории в деле производства богатств стоят выше, чем законы и категории феодального общества. В их глазах нищета — это лишь муки, сопровождающие всякие роды как в природе, так и в промышленности.

Романтики принадлежат нашей эпохе — эпохе, когда буржуазия находится в прямой противоположности пролетариату, когда нищета порождается в таком же огромном изобилии, как и богатство. Тогда экономисты разыгрывают из себя пресыщенных фаталистов, с высоты своего величия бросающих презрительный взгляд на те машины в человеческом образе, трудом которых создается богатство. Они подражают всем приемам своих предшественников, но равнодушные, бывшее у тех наивностью, у этих становится кокетством.

Затем является *гуманитарная школа*, принимающая близко к сердцу дурную сторону современных производственных отношений. Для успокоения своей совести она

старается по возможности сгладить существующие контрасты; она искренне оплакивает бедствия пролетариев и ожесточенную конкуренцию между буржуа; она советует рабочим быть умеренными, хорошо работать и родить поменьше детей; она предлагает буржуазии умерить свой производственный пыл. Вся теория этой школы основана на бесконечных различениях между теорией и практикой, между принципами и их последствиями, между идеей и ее применением, между содержанием и формой, между сущностью и действительностью, между правом и фактом, между хорошей и дурной стороной.

*Филантропическая школа* есть усовершенствованная гуманитарная школа. Она отрицает необходимость антагонизма; она хочет всех людей превратить в буржуа, она хочет осуществить теорию, поскольку эта теория отличается от практики и не содержит в себе антагонизма. Само собою разумеется, что нетрудно отвлекаться в теории от противоречий, встречаемых в действительности на каждом шагу. Подобная теория стала бы тогда идеализированной действительностью. Таким образом, филантропы хотят сохранить категории, выражающие собою буржуазные отношения, и устранить тот антагонизм, который составляет сущность этих категорий и от них неотделим. Филантропам кажется, что они серьезно борются против буржуазной практики, между тем как сами они буржуазны более, чем кто бы то ни был.

Так же точно, как *экономисты* служат научными представителями буржуазного класса, — *социалисты и коммунисты* являются теоретиками класса пролетариата. Пока пролетариат не настолько еще развит, чтобы конституироваться как класс, пока самая борьба пролетариата с буржуазией не имеет еще, следовательно, политического характера и пока производительные силы еще не до такой степени развились в недрах самой буржуазии, чтобы можно было обнаружить материальные условия, необходимые для освобождения пролетариата и для образования нового общества, — до тех пор эти теоретики являются лишь утопистами, которые, чтобы помочь нуждам угнетенных классов, придумывают системы и стремятся найти возрождающую науку. Но, по мере того как подвигается вперед история, а вместе с тем и яснее обрисовывается борьба пролетариата, для них становится излишним искать научную истину в своих собственных головах; им нужно только отдать себе отчет в том, что совершается на их глазах, и стать выразителями этого. До тех пор, пока они ищут

науку и создают только системы, до тех пор, пока они находятся лишь в начале борьбы, они видят в нищете только нищету, не замечая ее революционной, разрушительной стороны, той стороны, которая и ниспровергнет старое общество. Но после обнаружения этой стороны наука становится сознательным продуктом исторического движения, она перестает быть доктринерской, она делается революционной.

Возвратимся к г. Прудону.

Каждое экономическое отношение имеет свою хорошую и свою дурную сторону — это единственный пункт, в котором г. Прудон не побивает самого себя. Хорошая сторона выставляется, по его мнению, экономистами; дурная — изобличается социалистами. У экономистов он заимствует понятие о необходимости вечных экономических отношений; у социалистов — ту иллюзию, в силу которой они видят в нищете только нищету <sup>1</sup>. Он соглашается и с теми и с другими, причем старается опереться на авторитет науки. Наука же сводится в его представлении к тощим размерам научной формулы; он находится в вечной погоне за формулами <sup>2</sup>. Сообразно с этим, г. Прудон льстит себя уверенностью, что он сумел дать критику как политической экономии, так и коммунизма; на самом деле он стоит ниже их обоих. Ниже экономистов — потому, что он как философ, обладающий магической формулой, считает себя избавленным от необходимости вдаваться в чисто экономические детали; ниже социалистов — потому, что у него нехватает ни мужества, ни проницательности для того, чтобы подняться выше буржуазного кругозора, хотя бы только в области умозрений.

Он хочет быть синтезом и остается не более как сложной ошибкой.

Он хочет, как муж науки, витать над буржуа и пролетариями, но является лишь мелким буржуа, постоянно колеблющимся между капиталом и трудом, между политической экономией и коммунизмом.

---

<sup>1</sup> В письме к Швейцеру (1865) Маркс, цитируя отрывок из «Нищеты философии», после слова «нищету» вносит добавление: «(вместо того, чтобы видеть в ней революционную, разрушительную сторону, которая и ниспровергнет старое общество)». — *Ред.*

<sup>2</sup> Слова: «он находится в вечной погоне за формулами» отсутствуют во втором французском издании, в немецком переводе они сохранены. — *Ред.*

## § II. РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА И МАШИНЫ

Разделением труда открывается, по мнению г. Прудона, ряд *экономических эволюций*.

*Хорошая сторона разделения труда.*

«С точки зрения своей сущности разделение труда есть способ осуществления равенства условий и умственных способностей» (т. I, стр. 93).

«Разделение труда сделалось для нас источником нищеты» (т. I, стр. 94).

Вариант.

«Труд, разделяясь сообразно свойственному ему закону, составляющему первое условие его производительности, приходит в конце концов к отрицанию своих целей и сам себя уничтожает» (т. I, стр. 94).

*Дурная сторона разделения труда.*

*Задача, подлежащая раз-  
решению.*

Найти «новое сочетание, которое устранило бы вредные стороны разделения, сохраняя при этом его полезные действия» (т. I, стр. 97).

Разделение труда есть, по мнению г. Прудона, вечный закон, простая и абстрактная категория. Он должен, следовательно, найти в абстракции, в идее, в слове достаточное объяснение разделения труда в различные исторические эпохи. Касты, корпорации, мануфактура, крупная промышленность должны быть объяснены одним словом: *разделять*. Изучите сначала хорошенько смысл слова «разделять», и вам уже не нужно будет изучать те многочисленные влияния, которые в каждую эпоху придают разделению труда определенный характер.

Конечно, сводить исторические явления к категориям г. Прудона значит слишком уж упрощать их. Ход истории не так категоричен. Целых три столетия понадобилось Германии для того, чтобы установить первое крупное разделение труда, каковым является отделение города от деревни. По мере того как видоизменялось одно только это отношение между городом и деревней, видоизменялось и все общество.

Если рассматривать лишь одну эту сторону разделения труда, мы находим древние республики или христианский феодализм; старую Англию с ее землевладельцами-баронами или современную Англию с ее хлопчатобумажными баронами (*cotton lords*). В XIV и XV веках, когда еще не было колоний, когда Америка еще не существовала для Европы, а с Азией сношения велись лишь через Константинополь, когда Средиземное море было центром торговой деятельности, — в то время разделение труда имело совсем иную форму и иной характер, чем в XVII веке, когда испанцы, португальцы, голландцы, англичане и французы основали колонии во всех частях света. Размер рынка, его физиономия придают разделению труда в различные эпохи такую физиономию, такой характер, вывести которые из одного слова «разделять», из идеи, из категории «разделения труда» было бы слишком затруднительно.

«Все экономисты, начиная с А. Смита, — говорит г. Прудон, — указывали на *полезные и вредные стороны* закона разделения труда, но они придавали гораздо большее значение первым, чем последним, так как это более соответствовало их оптимизму: при этом ни один из экономистов не задал себе вопроса, что представляют собою вредные стороны какого-либо закона... Каким образом один и тот же принцип, строго проведенный во всех своих последствиях, приводит к диаметрально противоположным результатам? Ни один экономист ни до, ни после А. Смита даже не заметил здесь задачи, требующей разрешения. Сэй доходит лишь до признания, что в разделении труда та же причина, которая производит добро, порождает также и зло».

А. Смит был дальновиднее, чем думает г. Прудон. Он прекрасно видел, что «в действительности различие природных способностей между индивидами гораздо менее значительно, чем нам кажется. Эти столь различные склонности, свойственные, повидимому, людям, занятым в различных профессиях и достигшим зрелого возраста, составляют не столько *причину*, сколько *следствие* разделения труда». В принципе различие между носильщиком и философом менее значительно, чем между цепной и борзой собакой. Пропась между ними вырыта разделением труда. Все это не мешает г. Прудону утверждать в другом месте, что Адам Смит даже не подозревал вредного действия, которое производит разделение труда, и что Ж.-Б. Сэй *первый* признал, «что в разделении труда та же причина, которая производит добро, порождает также и зло».

Но послушаем Лемонтея: *Sunt cuique [каждому свое]*. «Г-н Ж.-Б. Сэй сделал мне честь, внося в свое прекрасное сочинение по политической экономии принцип, *выясненный мною* в этом отрывке о нравственном влиянии разделения труда. Несколько легкомысленное заглавие моей книги не позволило ему, без сомнения, цитировать меня. Только этим я и могу объяснить молчание писателя, слишком богатого собственными заслугами, чтобы не признать такого малого заимствования» (Lemontey, «*Oeuvres complètes*», т. I, стр. 245, Paris 1840 [Лемонтей, «*Собрание сочинений*», т. I]).

Отдадим должное Лемонтею: он остроумно изобразил при- скорбные следствия разделения труда в том виде, в каком оно установилось в наши дни, так что г. Прудон не смог ничего к этому прибавить. Но раз уж, по вине г. Прудона, мы ввязались в этот вопрос о первенстве, то скажем мимоходом, что задолго до Лемонтея и за семнадцать лет до Адама Смита, ученика А. Фергюсона, последний ясно изложил этот предмет в главе, специально посвященной разделению труда.

«Можно бы даже усомниться, увеличиваются ли общие способности нации пропорционально прогрессу ее искусств. Во многих механических искусствах... цель вполне достигается без всякого участия ума и чувства, и невежество является матерью промышленности так же, как и суеверия. Размышление и воображение подвержены ошибкам, но привычное движение руки или ноги не зависит ни от того, ни от другого. Таким образом, можно было бы сказать, что по отношению к мануфактуре наивысшее совершенство заключается в том, чтобы совершенно обходиться без участия умственных способностей, так что мастерскую можно рассматривать как машину, частями которой являются люди... Генерал может отличаться большим искусством в военном деле, тогда как вся задача солдата сводится к выполнению некоторых движений рук и ног. Первый выиграл, быть может, то, что потерял последний... В том периоде, когда все разделяется, само искусство мышления может превратиться в отдельное ремесло» (A. Ferguson, «*Essai sur l'histoire de la société civile*», Paris 1783 [А. Фергюсон, «*Исследование истории гражданского общества*»]).

В заключение нашего литературного обзора мы положительно отрицаем, будто «все экономисты подчеркивали полезные, а не вредные стороны разделения труда». Достаточно назвать Сисмонди.

Итак, что касается *полезных* сторон разделения труда,

то г. Прудону оставалось только перефразировать более или менее напыщенным слогом общие, всем известные фразы.

Посмотрим теперь, каким образом из разделения труда, рассматриваемого как общий закон, как категория, как идея, выводятся связанные с ним *вредные стороны*. Как это происходит, что эта категория, этот закон заключает в себе неравное распределение труда в ущерб уравнительной системе г. Прудона?

«В этот торжественный час разделения труда бурный ветер начинает носиться над человечеством. Прогресс совершается не для всех равным и одинаковым образом... он начинается с того, что овладевает небольшим числом привилегированных... Это-то лицепрятие прогресса по отношению к личностям и заставляло так долго верить в естественное и провиденциальное неравенство положений, породило касты и создало иерархический строй всех обществ» (Прудон, т. I, стр. 94).

Разделение труда создало касты. Касты — это вредная сторона разделения труда, следовательно, разделение труда создало вредные стороны. *Quod erat demonstrandum [что и требовалось доказать]*. Если мы захотим пойти дальше и спросим, что привело разделение труда к созданию каст, иерархического строя и привилегий, то г. Прудон ответит нам: прогресс. А что вызвало прогресс? Ограничение [La borne]. Ограничением г. Прудон называет лицепрятие прогресса по отношению к личностям.

За философией следует история. Теперь уже не описательная и не диалектическая история, а сравнительная. Г-н Прудон проводит параллель между современным и средневековым типографским рабочим, между рабочим [заводов] Крезю и деревенским кузнецом, между современным писателем и средневековым писателем; он заставляет чашу весов склоняться на сторону тех, которые в большей или меньшей степени служат представителями разделения труда, образовавшегося в средние века или доставшегося нам от них по наследству. Он противопоставляет разделение труда одной исторической эпохи разделению труда другой исторической эпохи. Это ли должен был сделать г. Прудон? Нет. Он должен был показать нам вредные стороны разделения труда вообще, разделения труда как категории. Зачем, однако, останавливаться на этой части произведения г. Прудона, когда, как мы увидим немного дальше, он сам категорически отрекается от всех этих мнимых доводов?

«Первым следствием раздробленного труда, — продолжает г. Прудон, — после *растления души*, является удлинение

рабочего дня, который растет обратно пропорционально сумме затраченных умственных сил... Но так как продолжительность рабочего дня не может превышать шестнадцати-восемнадцати часов, то с того момента, когда становится невозможным увеличение количества расходуемого времени, начинается уменьшение цены и падает заработная плата... Несомненно одно, и только это одно нам и необходимо здесь отметить: *всеобщая совесть* не ставит на один уровень труд мастера и труд чернорабочего. Следовательно, понижение цены рабочего дня необходимо, и, таким образом, работник, душа которого была изувечена принижаящим его родом труда, неизбежно должен понести и физические лишения от умеренности вознаграждения».

Мы не будем останавливаться на логическом достоинстве этих силлогизмов, которые Кант назвал бы отводящими в сторону паралогизмами.

Вот их сущность:

Разделение труда сводит рабочего к принижаящей его функции; этой принижаящей функции соответствует растленная душа, а растлению души соответствует постоянно усиливающееся падение заработной платы. И чтобы доказать, что уменьшенная заработная плата действительно приличествует растленной душе, г. Прудон, для успокоения своей совести, утверждает, что такова воля всеобщей совести. Интересно знать, входит ли душа г. Прудона в эту всеобщую совесть?

*Машины* являются у г. Прудона «логическим антитезисом разделения труда», и для подкрепления своей диалектики он немедленно превращает машины в *мастерскую*.

Для того чтобы из разделения труда вывести нищету, г. Прудон предполагал наличие современной мастерской [фабрики]; теперь он предполагает созданную разделением труда нищету, чтобы притти к фабрике и иметь возможность представить ее в качестве диалектического отрицания этой нищеты. Наказав работника в нравственном отношении *принижаящей функцией*, в физическом — недостаточной заработной платой; поставив рабочего в *зависимость от мастера*, обесценив его труд до уровня *труда чернорабочего*, г. Прудон сваливает теперь вину на фабрики и машины, которые *принижают* рабочего путем «подчинения его *хозяину*» и довершают его падение, заставляя «спуститься с положения ремесленника до положения *чернорабочего*». Прекрасная диалектика! И если бы он хоть на этом остановился. Но нет, ему требуется еще новая история разделения труда, на этот раз уже не для извлечения из нее противоречий, а для



того, чтобы перестроить фабрику на свой лад. Для достижения этой цели он вынужден забыть все только что сказанное им о разделении труда.

Труд организуется, разделяется различно, смотря по орудиям, которыми он располагает. Ручная мельница предполагает иное разделение труда, чем паровая. Начать с разделения труда вообще, чтобы дойти до специального орудия производства, до машины, — это значит просто издеваться над историей.

Машина столь же мало является экономической категорией, как и бык, который тащит плуг. Машина — это только производительная сила. Современная же фабрика, основанная на употреблении машин, есть общественное отношение производства, экономическая категория.

Посмотрим теперь, как происходит дело в блестящем воображении г. Прудона.

«В обществе беспрестанное введение новых и новых машин является антитезисом, обратной формулой труда: это *протест* промышленного гения против *раздробленного* и *человекоубийственного* труда. Что такое, в самом деле, машина? Это особый род соединения различных частей труда, отделенных его разделением. Каждую машину можно рассматривать как соединение многих операций... Следовательно, посредством машины будет происходить *восстановление работника*... Машины, являющиеся в политической экономии противоположностью разделения труда, представляют собою синтез, который в человеческом уме противоположен анализу... Разделение лишь отделяло различные части труда, предоставляя каждому заняться той специальностью, к которой он чувствовал наибольшую склонность; фабрика группирует рабочих сообразно отношению каждой части к целому... она вводит в область труда принцип власти... Но это еще не все: *машина*, или *фабрика*, принизив рабочего путем подчинения его хозяину, довершает его унижение, заставляя спуститься с положения ремесленника до положения чернорабочего... Период машин, нами теперь переживаемый, отличается одной характерной особенностью, а именно *наемным трудом*. Наемный труд появился *позже* разделения труда и обмена».

Сделаем г. Прудону одно простое замечание. Разъединение различных частей труда, предоставляющее каждому возможность заняться той специальностью, к которой он чувствует наибольшую склонность, — это разъединение, начало которого г. Прудон относит к первым дням мироздания,

существует только в современной промышленности, при господстве конкуренции.

Далее г. Прудон дает нам чрезвычайно «интересную генеалогию», показывающую, каким образом фабрика была порождена разделением труда, а наемный труд — фабрикой.

1) Он предполагает человека, который «заметил, что, разделяя производство на его различные части и предоставляя исполнение каждой из этих частей отдельному рабочему», можно увеличить производительные силы.

2) Этот человек, «следуя за нитью этой идеи, говорит себе, что, образовавши постоянную группу работников, подобранных для *предположенной* им специальной цели, он достигнет более регулярного производства и т. д.».

3) Этот человек делает другим людям *предложение* с целью заставить их усвоить его идею и последовать за нитью его идеи.

4) В самом начале промышленности этот человек ведет переговоры, как *равный с равным*, со своими *товарищами*, которые становятся впоследствии его *рабочими*.

5) «Понятно, конечно, что это первоначальное равенство должно было быстро исчезнуть ввиду выгодного положения хозяина и зависимости наемного рабочего».

Таков новый образчик *исторического и описательного метода* г. Прудона.

Рассмотрим теперь с исторической и экономической точек зрения, действительно ли *принцип власти* введен в общество фабрикой и машиной позже принципа разделения труда; произошло ли при этом, с одной стороны, восстановление прав рабочего, хотя он, с другой стороны, был подчинен власти; представляет ли, наконец, машина воссоединение разделенного труда, его *синтез*, противоположный его *анализу*?

Общество, как целое, имеет с внутренним устройством фабрики ту общую черту, что и в нем тоже существует свое разделение труда. Если мы возьмем за образец разделение труда на современной фабрике, чтобы применить его затем к целому обществу, то мы найдем, что наилучшим образом организованное для производства богатств общество должно было бы иметь лишь одного главного предпринимателя, распределяющего между различными членами общины их работу по заранее составленным правилам. Но в действительности мы видим не то. Тогда как внутри современной фабрики разделение труда регулируется до мелочей властью предпринимателя, современное общество для распределения своего

труда не имеет других правил, другой власти, кроме свободной конкуренции.

При патриархальном строе, при кастовом строе, при феодальном и корпоративном строе разделение труда в целом обществе совершалось по определенным правилам. Были ли эти правила установлены волей законодателя? Нет. Рожденные первоначально условиями материального производства, они были возведены в законы лишь гораздо позже. Именно таким образом эти различные формы разделения труда и легли в основу различных общественных организаций. Что же касается разделения труда внутри мастерской, то при всех этих общественных формах оно было очень мало развито.

Можно даже принять за общее правило, что, чем менее власть участвует в разделении труда внутри общества, тем сильнее развивается разделение труда внутри мастерской и тем сильнее подчиняется оно власти одного лица. Таким образом, по отношению к разделению труда власть в мастерской и власть в обществе *обратно пропорциональны* друг другу.

Посмотрим теперь, что представляет собою мастерская, в которой занятия резко разделены, где задача каждого рабочего сводится к очень простой операции и где власть, т. е. капитал, группирует и направляет работы. Как произошла эта мастерская-фабрика? Чтобы ответить на поставленный вопрос, нам следовало бы рассмотреть, как развивалась собственно мануфактурная промышленность. Я говорю о той промышленности, которая не превратилась еще в современную промышленность с ее машинами, но не представляет уже ни средневекового ремесла, ни домашней промышленности. Мы не будем входить в большие подробности, а наметим только несколько главнейших пунктов, из которых будет видно, что не формулами создается история.

Необходимейшим условием образования мануфактурной промышленности было накопление капиталов, облегченное открытием Америки и ввозом ее драгоценных металлов.

Достаточно доказано, что следствием увеличения средств обмена было, с одной стороны, падение заработной платы и земельной ренты, а с другой — возрастание промышленных прибылей. Иными словами: насколько пали классы земельных собственников и трудящихся, феодальные сеньеры и народ, настолько поднялся класс капиталистов—буржуазия.

Были еще и другие обстоятельства, одновременно содействовавшие развитию мануфактурной промышленности: увеличение количества находящихся в обращении товаров, последовавшее за открытием торговых сношений с Ост-Индией

морским путем вокруг мыса Доброй Надежды; затем колониальная система и развитие морской торговли.

Другим условием, — которое еще не было должным образом оценено в истории мануфактурной промышленности, — был роспуск многочисленной свиты феодальных сеньеров, второстепенные члены которой превратились в бродяг, прежде чем поступить в мастерские. Созданию мануфактурной мастерской предшествовало в XV и XVI веках почти повсеместное бродяжничество. Мастерская нашла кроме того могущественную поддержку в большом числе крестьян, которые в продолжение целых столетий приливали в города, так как превращение полей в луга и успехи земледелия, уменьшившие количество необходимых для обработки земли рук, постоянно гнали их из деревень.

Расширение рынка, накопление капиталов, перемены в социальном положении классов, толпы людей, лишенных своих источников дохода, — вот исторические условия образования мануфактуры. Не любовные сделки между равными, как думает г. Прудон, собрали людей в мастерские. Мануфактура возникла не в недрах старинных цехов. Главой новейшей мастерской сделался купец, а не старый цеховой мастер. Почти всюду между мануфактурой и ремеслами велась ожесточенная борьба.

Накопление и концентрация орудий производства и работников предшествовали развитию разделения труда внутри мастерской. Отличительным свойством мануфактуры было скорее соединение многих работников и многих ремесел в одном месте, в одном помещении, под командой одного капитала, чем разложение труда на его составные части и приспособление специальных рабочих к очень простым операциям.

Полезность мастерской заключалась не столько в разделении труда, в собственном смысле слова, сколько в том обстоятельстве, что производство велось здесь в больших размерах, сберегалось много лишних расходов и т. д. В конце XVI и в начале XVII веков голландская мануфактура была еще едва знакома с разделением труда.

Развитие разделения труда предполагает соединение работников в одной мастерской. Ни в XVI, ни в XVII веках мы не встречаем ни одного примера такого значительного разделения различных эксплуатируемых отраслей одного и того же ремесла, что достаточно было бы соединить их в одном месте для получения законченной мастерской. Но раз люди и орудия производства соединились в одном месте, разделение труда в том виде, в каком оно существовало

в цехах, неизбежно воспроизводилось и отражалось внутри мастерской.

Для г. Прудона, который, если только видит вещи, то видит их наизусть, разделение труда, в смысле Адама Смита, предшествует мастерской, между тем как на деле мастерская является условием существования разделения труда.

*Машины*, в собственном смысле слова, появляются лишь в конце XVIII века. Нет ничего нелепее, как видеть в них *антитезис* разделения труда, *синтез*, восстанавливающий единство раздробленного труда.

Машина есть соединение рабочих инструментов, а вовсе не комбинация работ для самого рабочего. «Когда каждая отдельная операция сведена разделением труда к употреблению одного простого инструмента, тогда соединение всех этих инструментов, приводимых в действие одним только двигателем, образует машину» (Babbage, «*Traité sur l'Économie des machines* etc.», Paris 1833 [Бэббедж, «*Трактат об экономии машин* и т. д.]). Простые орудия, накопление орудий, сложные орудия; приведение в действие сложного орудия одним двигателем — руками человека, приведение этих инструментов в действие силами природы; машина; система машин, имеющая один только двигатель; система машин, имеющая автоматический двигатель, — вот ход развития машин.

Концентрация орудий производства и разделение труда так же неотделимы друг от друга, как в политическом строе неразлучны концентрация общественных властей и разделение частных интересов. Англия, при концентрации земель, этих орудий земледельческого труда, имеет также разделение земледельческого труда и применение механической обработки земли. Франция же, с ее разделением орудий труда и режимом мелкой частной собственности, не имеет, вообще говоря, ни разделения земледельческого труда, ни применения машин к земледелию.

По мнению г. Прудона, концентрация орудий труда есть отрицание разделения труда. В действительности мы опять-таки видим обратное. По мере концентрации орудий развивается также разделение труда, и *vice versa* [наоборот]. Вот почему за каждым крупным изобретением в области механики следует усиление разделения труда, а всякое усиление разделения труда ведет, в свою очередь, к новым изобретениям в механике.

Нам не нужно напоминать, что великие успехи в разделении труда начались в Англии после изобретения машин. Так, ткачи и прядильщики были по большей части такими же

крестьянами, каких мы и до сих пор встречаем в отсталых странах. Изобретение машин довершило отделение мануфактурной промышленности от земледельческой. Ткач и прядильщик, соединенные прежде в одной семье, были разъединены машиной. Благодаря этой последней прядильщик может теперь жить в Англии, в то время как ткач находится в Ост-Индии. До изобретения машин промышленность страны направлялась главным образом на обработку сырых материалов, производимых ее собственной почвой. Так, Англия обрабатывала шерсть, Германия — лен, Франция — шелк и лен, Ост-Индия и Левант — хлопок и т. д. Благодаря применению машин и пара разделение труда приняло такие размеры, что крупная промышленность, оторванная от национальной почвы, зависит уже единственно от мирового рынка, от международного обмена и международного разделения труда. Наконец, машина имеет такое влияние на разделение труда, что, как только в производстве какого-нибудь предмета является возможность частичного применения механически действующих орудий, производство тотчас же разделяется на две, независимые одна от другой, отрасли.

Нужно ли говорить о *провиденциальной* и филантропической *цели*, открытой г. Прудоном в изобретении и первоначальном введении машин?

Когда в Англии рынок принял такие размеры, что ручной труд не мог уже удовлетворять спрос, почувствовалась потребность в машинах. Тогда стали думать о применении науки — механики, уже вполне развившейся в XVIII веке.

Первые действия мастерской, работавшей при помощи машин, были отнюдь не филантропичны. Кнутом удерживали там детей за работой; дети сделались предметом торговли, и о доставке их заключали контракты с сиротскими домами. Все законы относительно ремесленного обучения рабочих были отменены, так как, употребляя выражение г. Прудона, не было уже более надобности в *синтетических* рабочих. Наконец, начиная с 1825 г., почти все новые изобретения были результатом конфликтов между рабочими и предпринимателями, которые всеми силами старались обесценить специальную подготовку рабочих. После каждой сколько-нибудь значительной стачки появляется новая машина. Рабочий же настолько мало видел в применении машин свою реабилитацию, или свое *восстановление*, как говорит г. Прудон, что в XVIII веке он долго боролся с зарождающимся господством автоматической силы.

«Уайт, — говорит доктор Юр, — гораздо ранее Аркрайта изобрел прядильные пальцы (ряд снабженных желобками валиков)... Но главная трудность заключалась не столько в изобретении автоматического механизма... Она состояла главным образом в воспитании дисциплины, необходимой для того, чтобы заставить людей отказаться от их неправильных привычек в работе и помочь им слиться с неизменной правильностью движения большой автоматической машины. Но изобрести и провести на практике кодекс мануфактурной дисциплины, приуроченный к потребностям и скорости автоматической системы, — вот задача, достойная Геркулеса, вот благородный подвиг Аркрайта».

Таким образом, благодаря введению машин усилилось разделение труда внутри общества и упростилась задача рабочего внутри мастерской, капитал оказался объединенным, а человек еще более разорванным на части.

Когда у г. Прудона является желание быть экономистом и покинуть на минуту «развитие ряда идей в уме», он черпает свою эрудицию у А. Смита, писавшего в то время, когда фабрика только зарождалась. Разница между разделением труда, существовавшим во времена А. Смита, и тем, какое мы видим в современной фабрике, действительно громадна. Для полного ее понимания достаточно будет процитировать некоторые места из «La philosophie des manufactures» [«Философии мануфактур»] доктора Юра.

«Когда А. Смит писал свою бессмертную работу об элементах политической экономии, система машинной промышленности едва была известна. Разделение труда справедливо казалось ему великим принципом совершенствования мануфактуры. На примере производства булавок он показал, что рабочий, совершенствуясь путем упражнения на одной и той же детали, становится более быстрым в работе и более дешевым. Он видел, что, согласно этому принципу, в каждой отрасли мануфактуры выполнение некоторых операций, — вроде разрезывания медной проволоки на равные части, — значительно облегчается; другие же операции, — как, например, отделка и прикрепление булавочных головок, — остаются сравнительно более трудными; из этого он заключил, что будет совершенно естественно приспособить к каждой из этих операций одного рабочего, заработная плата которого будет соответствовать его искусству. Это приспособление и составляет сущность разделения труда. Но то, что могло служить удачным примером во времена доктора Смита, в настоящее время может лишь ввести публику в за-

блуждение относительно действительного принципа фабричной промышленности. В самом деле, распределение, или, вернее, приспособление работ к различным индивидуальным способностям, вовсе не входит в план действий фабрики; напротив, в каждом процессе, требующем большой ловкости и точности, рука искусного, но часто склонного к различного рода неправильностям, рабочего заменяется особым механизмом, автоматическая работа которого так правильна, что даже ребенок может надзирать за нею.

«Принцип автоматической системы заключается, следовательно, в вытеснении ручного труда машинным и в замене разделения труда между ремесленниками разложением процесса на его составные части. При системе ручного труда заработная плата составляла обыкновенно наиболее дорогой элемент любого продукта, но при автоматической системе искусство ремесленника постепенно вытесняется простым надзором за машинами.

«Такова уж слабость человеческой природы, что, чем искуснее рабочий, тем он своевольнее и несговорчивее и тем менее он пригоден поэтому для механической системы, общий ход которой может значительно пострадать от его капризных выходов. Главная задача современного фабриканта заключается, следовательно, в том, чтобы, сочетая науку со своими капиталами, свести всю задачу рабочих к употреблению в дело лишь одной бдительности и ловкости, — способностей, которые быстро совершенствуются в молодости, *если бывают направлены на один и тот же предмет.*

«При системе градаций труда требуется многолетнее обучение, прежде чем глаза и руки рабочего достигнут искусства, необходимого для выполнения некоторых особенно трудных механических операций; но при системе, разлагающей производство на его составные части, которые исполняются автоматической машиной, эти самые элементарные части можно поручить рабочему, одаренному самыми посредственными способностями, подвергнув его лишь краткому испытанию; в случае необходимости можно даже переводить его от одной машины к другой по воле директора заведения. Такие перемещения находятся в явном противоречии со старой рутинной, которая, разделяя труд, одному рабочему предоставляла выделывать головки булавок, другому оттачивать концы, — работа, скучное однообразие которой отупляет рабочих... Но по принципу *уравнивания*, т. е. при автоматической системе, способности рабочего подвергаются лишь приятному упражнению и т. д... Так как его занятие



ограничивается надзором за правильно действующим механизмом, то он может изучить его в очень короткое время; когда же он переходит от обслуживания одной машины к другой, в его работу вносится разнообразие, которое расширяет его кругозор размышлением об общем сочетании результатов его труда и труда его товарищей. Поэтому режим *равного распределения работ* не может при обыкновенных обстоятельствах вести к тому подавлению способностей, сужению кругозора и остановке в телесном развитии рабочего, которые, и не без основания, приписывались разделению труда.

«В действительности постоянной целью и стремлением каждого механического усовершенствования является полное устранение человеческого труда или понижение его цены путем замены труда мужчин трудом женским и детским, труда искусных ремесленников — трудом необученных рабочих... Это стремление вместо очень опытных поденщиков употреблять только детей с быстрыми глазами и гибкими пальцами доказывает, что схоластический догмат разделения труда по различным степеням искусства отброшен, наконец, нашими просвещенными фабрикантами» (André Ure, «*Philosophie des manufactures ou Économie industrielle*», т. I, гл. I [Эндрю Юр, «*Философия мануфактур или промышленная экономия*»]).

Разделение труда внутри современного общества характеризуется тем, что оно порождает специальности, различные роды деятельности, а вместе с тем профессиональный идиотизм.

«Мы приходим в величайшее удивление, — говорит Лемонтей, — видя, что у древних одно и то же лицо являлось часто одновременно замечательным философом, поэтом, оратором, историком, священником, администратором и полководцем. Нас ужасает такое обширное поприще. Каждый отгораживает себе известное пространство и замыкается в нем. Я не знаю, увеличивается ли через это раздробление общее поле деятельности, но человек несомненно мельчает».

Разделение труда на фабрике характеризуется тем, что труд совершенно теряет здесь характер специальности. Но как только прекращается всякое специальное развитие, то потребность в универсальности, стремление к всестороннему развитию индивида начинают давать себя чувствовать. Фабрика стирает различные роды деятельности и профессиональный идиотизм.

Г-н Прудон, не поняв даже этой единственно революционной стороны фабрики, делает шаг назад и предлагает рабочему не ограничиваться одною двенадцатою частью

булавки, а делать поочередно все двенадцать частей. Таким образом рабочий достиг бы всестороннего знания и познания булавки. Вот в чем заключается синтетический труд г. Прудона. Никто не усомнится в том, что делать движение вперед и другое движение назад означает также делать синтетическое движение.

В конце концов г. Прудон не пошел дальше идеала мелкого буржуа. И для осуществления этого идеала он не придумал ничего лучшего, как возвратить нас к состоянию средневекового подмастерья или, самое большее, — средневекового мастера. Достаточно создать в своей жизни лишь один шедевр, один лишь раз почувствовать себя человеком, говорит он в другом месте своей книги. Не есть ли это — и по форме и по содержанию — тот самый шедевр, который требовался цехами средневековья?

### § III. КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛИЯ

- |                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| <i>Хорошая сторона конкуренции.</i>   | { | «Конкуренция имеет для труда такое же существенное значение, как и разделение... она необходима для <i>наступления равенства</i> ».  |
| <i>Дурная сторона конкуренции.</i>    | { | «Ее принцип есть отрицание самой себя. Неизбежным ее следствием является гибель тех, кого она увлекает».   |
| <i>Общее соображение.</i>             | { | «Как <i>вредные</i> стороны конкуренции, так равно и доставляемые ею выгоды... логически вытекают из ее принципа».   |
| <i>Задача, подлежащая разрешению.</i> | { | «Найти <i>примиряющий</i> принцип, который должен исходить из закона, стоящего выше самой свободы».  |
|                                       |   | Вариант.   |
|                                       |   | «Речь идет, следовательно, вовсе не об уничтожении конкуренции, что так же невозможно, как и уничтожение свободы; все дело в том, чтобы найти равновесие, и я бы охотно сказал даже: <i>регулировать</i> [конкуренции]». |

Г-н Прудон начинает с защиты вечной необходимости конкуренции против тех <sup>1</sup>, которые хотят ее заменить *соревнованием*.

«Бесцельного соревнования» не существует. «Предмет каждой страсти всегда аналогичен самой страсти: женщина является предметом страсти для влюбленного, власть — для честолюбца, золото — для скупца, лавровый венок — для поэта; точно так же и предметом промышленного соревнования необходимо является *прибыль*. Соревнование есть не что иное, как сама конкуренция».

Конкуренция есть соревнование ради прибыли. Необходимо ли, чтобы промышленное соревнование всегда являлось соревнованием ради прибыли, т. е. конкуренцией? Г-н Прудон доказывает это простым утверждением. Мы уже видели, что утверждать, по его мнению, значит доказывать, так же точно как предполагать — значит отрицать.

Если непосредственным *предметом* страсти для влюбленного является женщина, то непосредственным предметом промышленного соревнования будет продукт, а не прибыль.

Конкуренция есть торговое, а не промышленное соревнование. В наше время промышленное соревнование существует лишь ввиду торговых целей. Бывают даже такие фазы в экономической жизни современных народов, когда всех охватывает особого рода горячка погони за прибылью без производства. Эта периодически возвращающаяся горячка спекуляции обнажает подлинный характер конкуренции, которая старается избежать необходимости промышленного соревнования.

Если бы вы сказали ремесленнику XIV века, что привилегии и вся феодальная организация промышленности будут уничтожены и заменены промышленным соревнованием, называемым конкуренцией, он ответил бы вам, что привилегии различных корпораций, цехов и гильдий составляют организованную конкуренцию. То же говорит и г. Прудон, когда он утверждает, что «соревнование есть не что иное, как сама конкуренция».

«Издайте указ, в силу которого с 1 января 1847 г. всем и каждому гарантировались бы труд и заработная плата; тотчас же бурное напряжение промышленности сменится сильнейшим застоєм».

Вместо предположения, утверждения и отрицания мы имеем теперь указ, издаваемый г. Прудоном с нарочитой

<sup>1</sup> Фурьеристов. — Ф. Э.

целью доказать необходимость конкуренции, ее вечность как категории и т. д.

Если мы вообразим, что для уничтожения конкуренции нужны только указы, то мы никогда от конкуренции не освободимся. Доходить же до предложения уничтожить конкуренцию, сохраняя заработную плату, значит предлагать учредить посредством королевского декрета полнейшую бессмыслицу. Но народы развиваются не по королевскому декрету. Прежде чем прибегать к таким указам, народы должны изменить снизу доверху все условия своего промышленного и политического существования, а следовательно, и весь свой образ жизни.

Г-н Прудон ответит нам со своей неизменной самоуверенностью, что это — гипотеза «изменения нашей природы независимо от условий исторического прошлого» и что он имел бы право «устранить нас от спора», не знаем уж в силу какого указа.

Г-н Прудон не знает, что вся история есть не что иное, как непрерывное изменение человеческой природы.

«Будем придерживаться фактов. Французская революция была совершена столько же ради промышленной свободы, сколько и ради политической; и хотя Франция 1789 г. не предвидела всех следствий того принципа, осуществления которого требовала, она — скажем это во всеуслышание — не обманулась, однако, ни в своих желаниях, ни в своих ожиданиях. Кто попытается отрицать это, тот потеряет в моих глазах всякое право на критику: я никогда не стану спорить с противником, который в принципе допускает произвольную ошибку двадцати пяти миллионов людей... Если бы конкуренция не была *принципом общественной экономии, декретом судьбы, потребностью человеческой души*, то почему же, вместо того чтобы *уничтожить* корпорации, цехи и гильдии, не предпочли бы подумать об их *исправлении*».

Отсюда следует, что так как французы XVIII века уничтожили корпорации, цехи и гильдии, вместо того чтобы видоизменить их, то французы XIX века должны видоизменить конкуренцию, вместо того чтобы уничтожить ее. Так как конкуренция была установлена во Франции XVIII века, как следствие исторических потребностей, то она не должна быть устранена во Франции XIX века ради других исторических потребностей. Не понимая, что установление конкуренции было тесно связано с реальным развитием людей XVIII века, г. Прудон превращает ее в *потребность человеческой души in partibus*

*infidelium* [имеющую чисто призрачное существование]. Как определил бы он значение «великого Кольбера» для XVII века?

После революции наступает современный нам порядок вещей. Г-н Прудон равным образом и здесь находит факты, чтобы показать вечность конкуренции, доказывая, что все те отрасли промышленности, где, как, например, в земледелии, эта категория недостаточно развита, находятся в состоянии упадка и отсталости.

Указание на то, что некоторые отрасли промышленности не доразвились еще до конкуренции, а другие не достигли еще уровня буржуазного производства, есть простая болтовня, нисколько не доказывающая вечности конкуренции.

Вся логика г. Прудона резюмируется следующим образом: конкуренция есть общественное отношение, в котором мы в настоящее время развиваем наши производительные силы. Этой истине он дает не логическое развитие, а часто лишь придает весьма напыщенные формы, говоря, что конкуренция есть промышленное соревнование, современный способ быть свободным, ответственность в труде, конституирование стоимости, условие наступления равенства, принцип общественной экономии, декрет судьбы, потребность человеческой души, наитие вечной справедливости, свобода в разделении, разделение в свободе, экономическая категория.

«Конкуренция и ассоциация опираются друг на друга. Они не только не исключают одна другую, но даже *не расходятся* между собою. Конкуренция необходимо предполагает *общую цель*. Следовательно, конкуренция не есть *эгоизм*, и самое печальное заблуждение социализма заключается в том, что он ее рассматривал, как ниспровержение общества».

Конкуренция предполагает общую цель, а это, с одной стороны, доказывает, что конкуренция есть ассоциация, а с другой, — что конкуренция не есть эгоизм. А разве *эгоизм* не предполагает также общей цели? Всякий эгоизм действует в обществе и посредством общества. Он предполагает, следовательно, общество, т. е. общие цели, общие потребности, общие средства производства и т. д. и т. д. Разве случайно, что конкуренция и ассоциация, о которых говорят социалисты, даже не расходятся между собою?

Социалисты прекрасно знают, что современное общество основано на конкуренции. Каким же образом могли бы они упрекать конкуренцию в ниспровержении современного

общества, которое они сами хотят ниспровергнуть? И как могли бы они обвинять конкуренцию в ниспровержении будущего общества, в котором они видят, наоборот, ниспровержение самой конкуренции?

Г-н Прудон говорит далее, что конкуренция есть *противоположность монополии* и что, следовательно, она не может быть *противоположна ассоциации*.

Феодализм был с самого начала своего существования противоположен патриархальной монархии; но он не был противоположен конкуренции, еще не существовавшей в то время. Следует ли из этого, что конкуренция не противоположна феодализму?

На самом деле выражения: *общество, ассоциация* это такие наименования, которые можно дать всяческим обществам, как феодальному обществу, так и буржуазному, которое есть ассоциация, основанная на конкуренции. Каким же образом могут существовать социалисты, которые считают возможным опровергать конкуренцию одним словом: *ассоциация*? И как это сам г. Прудон может думать, что, называя конкуренцию просто *ассоциацией*, он тем самым защищает ее от социализма?

Все только что сказанное нами относится к хорошей стороне конкуренции, в том виде, как ее понимает г. Прудон. Перейдем теперь к дурной, т. е. к отрицательной, стороне конкуренции, к ее вредным следствиям, к ее разрушительным, пагубным, зловредным свойствам.

Картина, нарисованная нам г. Прудоном, носит крайне мрачный характер.

Конкуренция порождает нищету, она раздувает гражданскую войну, «изменяет естественные условия земных поясов», перемешивает национальности, вносит смуту в семьи, развращает общественную совесть, «извращает понятие о правосудии, о справедливости», о морали, и, что всего хуже, она разрушает честную и свободную торговлю, не давая взамен этого даже *синтетической стоимости*, постоянной и честной цены. Конкуренция разочаровывает всех, не исключая самих экономистов. Она доходит в опрокидывании всех вещей вплоть до самоуничтожения.

После всего худого, сказанного г. Прудоном о конкуренции, не представляется ли она самым разлагающим, самым разрушительным элементом для отношений буржуазного общества, для его принципов и иллюзий?

Заметим, что влияние конкуренции на буржуазные *отношения* становится все более и более разрушительным по мере

того, как она побуждает к лихорадочному созиданию новых производительных сил, т. е. материальных условий нового общества. В этом отношении по крайней мере дурная сторона конкуренции могла бы представить и нечто хорошее.

«Рассматриваемая с точки зрения ее происхождения конкуренция, как положение или экономическая фаза, есть необходимое следствие... теории сокращения общих издержек производства».

Для г. Прудона кровообращение должно являться результатом теории Гарвея.

«*Монополия* есть роковой предел конкуренции, которая порождает ее непрерывным самоотрицанием. В этом происхождении монополии заключается уже ее оправдание... Монополия составляет естественную противоположность конкуренции... но если конкуренция необходима, то она уже в себе заключает идею монополии, потому что монополия есть как бы оплот для каждой конкурирующей личности».

Мы радуемся вместе с г. Прудоном, что ему посчастливилось хоть однажды удачно применить свою формулу тезиса и антитезиса. Всем известно, что современная монополия порождается самой же конкуренцией.

Что же касается содержания, то г. Прудон придерживается поэтических образов. Конкуренция делала «из каждого подразделения труда как бы суверенитет, в котором всякий индивид проявляет свою силу и свою независимость». Монополия есть «оплот каждой конкурирующей индивидуальности». «Суверенитет» по меньшей мере так же хорошо звучит, как и «оплот».

Г-н Прудон говорит только о современной монополии, порожденной конкуренцией. Но всем известно, что конкуренция была порождена феодальной монополией. Следовательно, первоначально конкуренция была противоположностью монополии, а не монополия противоположностью конкуренции. Поэтому современная монополия не есть простой антитезис, а является, наоборот, настоящим синтезом.

*Тезис:* Феодальная монополия, предшествовавшая конкуренции.

*Антитезис:* Конкуренция.

*Синтез:* Современная монополия, которая, поскольку она предполагает господство конкуренции, представляет собою отрицание феодальной монополии и в то же время,

поскольку она является монополией, отрицает конкуренцию.

Таким образом, современная монополия, буржуазная монополия, есть монополия синтетическая, отрицание отрицания, единство противоположностей. Она есть монополия в чистом, нормальном, рациональном виде. Г-н Прудон становится в противоречие со всей собственной философией, принимая буржуазную монополию за монополию в ее грубом, *упрощенном*, противоречивом, судорожном состоянии. Г-н Росси, которого г. Прудон столько раз цитирует по вопросу о монополии, повидимому, лучше понял синтетический характер буржуазной монополии. В своем «*Cours d'économie politique*» [*Курс политической экономики*] он делает различие между искусственными и естественными монополиями. Феодальные монополии, говорит он, были искусственны, т. е. произвольны; буржуазные же монополии естественны, т. е. рациональны.

Монополия — хорошая вещь, рассуждает г. Прудон, потому что она представляет экономическую категорию, эманацию «безличного разума человечества». Конкуренция тоже прекрасная вещь, потому что она, в свою очередь, является экономической категорией. Но что нехорошо, так это реальность монополии и реальность конкуренции. А еще хуже то, что монополия и конкуренция пожирают друг друга. Что делать? Стараться найти синтез этих двух вечных идей, вырвать его из недр божества, где он хранится с незапамятных времен.

В практической жизни мы находим не только конкуренцию, монополию и их антагонизм, но также и их синтез, который есть не формула, а движение. Монополия производит конкуренцию, конкуренция производит монополию. Монополисты конкурируют между собою, конкурирующие становятся монополистами. Если монополисты ограничивают взаимную конкуренцию посредством частичных ассоциаций, то усиливается конкуренция между рабочими; и чем более растет масса пролетариев по отношению к монополистам данной нации, тем разнузданнее становится конкуренция между монополистами различных наций. Синтез заключается в том, что монополия может держаться лишь благодаря тому, что она ведет постоянно конкурентную борьбу.

Чтобы диалектически вывести *налоги*, которые следуют за *монополией*, г. Прудон говорит нам об *общественном гении*. Этот гений *бесстрашно шествует по своему зигзагообразному*



пути, он, «идя уверенным шагом, без раскаяния и без остановки, и доходя до угла монополии, бросает меланхолический взгляд назад и, после глубокого размышления, облагает налогами все предметы производства, создает целую административную организацию для того, чтобы все должности были отданы пролетариату и оплачивались монополистами».

Что сказать об этом гении, прогуливающимся натошак, зигзагами? И что сказать о самой прогулке, не имеющей иной цели, как раздавить буржуа налогами, тогда как налоги служат именно средством сохранения за буржуазией положения господствующего класса?

Чтобы дать читателю некоторое понятие о способе обращения г. Прудона с экономическими деталями, достаточно сказать, что, по его мнению, налог на потребление был установлен в целях равенства, для оказания помощи пролетариату.

Налог на потребление достиг своего полного развития лишь с победой буржуазии. В руках промышленного капитала, — т. е. трезвого и бережливого богатства, которое сохраняется, воспроизводится и увеличивается путем непосредственной эксплуатации труда, — налог на потребление служил средством эксплуатации легкомысленного, веселого и расточительного богатства крупных дворян, занимавшихся одним лишь потреблением. Джемс Стюарт в своем сочинении: *«Recherches sur les principes de l'Économie politique»* [*«Исследования принципов политической экономии»*], опубликованном за десять лет до появления книги А. Смита, прекрасно изложил эту первоначальную цель налога на потребление.

«В неограниченной монархии, — говорит он, — государи относятся как бы с некоторого рода завистью к росту богатств и поэтому собирают налоги с тех, кто богатеет, — облагают производство. При конституционном же правительстве налоги падают, главным образом, на тех, кто беднеет, — налоги на потребление. Так, монархи налагают подать на промышленность... поголовная подать, например, и налог на имущество [taille] пропорциональны предполагаемому богатству плательщиков. Каждый облагается соразмерно той прибыли, которую, по предположению, может получить. При конституционных правительствах налоги взимаются обыкновенно с потребления. Каждый облагается соразмерно величине своих расходов».

Что же касается *логической последовательности* появления — в уме г. Прудона — налогов, торгового баланса и кредита, то мы заметим только, что английская буржуазия, достигнув при Вильгельме Оранском политического господства, сразу создала новую систему налогов, общественный кредит и систему покровительственных пошлин, как только она получила возможность свободно развивать условия своего существования.

Этого обзора совершенно достаточно, чтобы дать читателю верное представление о глубокомысленных исследованиях г. Прудона по вопросам о регулировании или налогах, о торговом балансе, кредите, коммунизме и народонаселении. Мы сомневаемся в том, чтобы самая снисходительная критика могла серьезно рассматривать относящиеся сюда главы.

#### § IV. СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ РЕНТА

В каждую историческую эпоху собственность развивалась различно и при совершенно различных общественных отношениях. Поэтому определить буржуазную собственность — это значит не что иное, как дать описание всех общественных отношений буржуазного производства.

Стремиться дать определение собственности как независимого отношения, как особой категории, как абстрактной и вечной идеи — значит впадать в метафизическую или юридическую иллюзию.

Хотя г. Прудон и делает вид, будто говорит о собственности вообще, но он рассуждает лишь о *земельной собственности* и о *земельной ренте*.

«Происхождение ренты, так же как и собственности, лежит, так сказать, за пределами экономики: оно коренится в психологических и нравственных соображениях, стоящих лишь в очень отдаленной связи с производством богатств» (т. II, стр. 269).

Таким образом, г. Прудон признает свою неспособность найти экономическое объяснение возникновения ренты и собственности. Он сознается, что эта неспособность принуждает его прибегать к соображениям психологического и морального порядка, которые, находясь действительно лишь в очень отдаленной связи с производством богатств, тесно связаны, однако, с узостью его исторического кругозора. Г-н Прудон утверждает, что в происхождении собственности есть нечто *мистическое* и *таинственное*. Но приписывать

происхождению собственности таинственность, т. е. превращать в тайну отношения самого производства к распределению орудий производства, — не значит ли это, говоря языком г. Прудона, отказываться от всяких притязаний на экономическую науку?

Г-н Прудон «ограничивается» напоминанием, что в седьмую эпоху экономической эволюции, — в эпоху *кредита*, — когда действительность была вытеснена фикцией и человеческой деятельности грозила опасность потеряться в пустоте, явилась необходимость *крепче привязать человека к природе*, и рента была ценой этого нового контракта» (т. II, стр. 265).

Человек с сорока эку<sup>1</sup> предчувствовал, очевидно, появление г. Прудона: «Воля ваша, господин создатель: каждый — хозяин в своем мире, но вы никогда не уверите меня, чтобы мир, в котором мы живем, был из стекла». В вашем мире, где кредит был средством *потеряться в пустоте*, быть может, и явилась необходимость в земельной собственности, чтобы *привязать человека к природе*. Но в мире действительного производства, где земельная собственность всегда предшествует кредиту, немислим и *horror vacui* [боязнь пустоты] г. Прудона.

Каково бы ни было происхождение ренты, но раз она существует, то становится предметом резкого спора между фермером и земельным собственником. Каков же конечный результат этого спора, или, другими словами, какова средняя величина ренты? Вот что говорит г. Прудон:

«Теория Рикардо отвечает на этот вопрос. В начале общественной жизни, когда человек, новичок на земле, имел перед собою только огромные леса, когда земли было много, а промышленность только зарождалась, рента должна была равняться нулю. Еще невозделанная тогда земля была полезной вещью, а не меновой стоимостью, она была общей, но не общественной. Мало-помалу, вследствие увеличения числа семейств и прогресса земледелия, земля начала приобретать цену. Труд сообщил почве свою стоимость, и отсюда родилась рента. Каждое поле ценилось тем более, чем более плодов приносило оно при равном количестве труда; при этом собственники всегда стремились присвоить себе все количество приносимых землей продуктов, за исключением

.....  
<sup>1</sup> Человек с сорока эку — так в одноименном произведении Вольтера называется бедный трудолюбивый крестьянин, доход которого равняется только 40 эку. — *Ред.*

заработной платы фермера, т. е. за исключением издержек производства. Таким образом, собственность следует за трудом, чтобы отнимать у него все то количество продуктов, которое превосходит действительные издержки производства. В то время как собственник исполняет мистическую обязанность и по отношению к колону является представителем общины, фермер в предначертаниях провидения есть не более как несущий ответственность работник, обязанный давать обществу отчет во всем собранном им сверх следуемой ему по праву заработной платы... По существу своему и назначению рента является, следовательно, орудием распределяющей справедливости, одним из многих средств, употребляемых экономическим гением для достижения равенства. Это огромный кадастр, составляемый с противоположных сторон собственниками и фермерами, без возможности столкновения, ради высшей цели. Конечным результатом такого кадастра должно быть уравнение владения землей между земледельцами и промышленниками... Нужна была вся магическая сила собственности, чтобы вырвать у колона излишек продукта, на который он не мог не смотреть, как на лично ему принадлежащий, считая себя единственным его творцом. Рента, или, лучше сказать, земельная собственность, сокрушила земледельческий эгоизм и породила солидарность, которую не могла бы создать никакая сила, никакой передел земель... В настоящее время, когда моральный результат собственности достигнут, остается произвести распределение ренты».

Весь этот набор громких слов сводится к следующему: Рикардо говорит, что мера ренты дается излишком цены земледельческих продуктов над издержками производства, включая в эти издержки обычную прибыль и обычный процент на капитал. Г-н Прудон поступает лучше: он заставляет вмешаться в дело собственника, являющегося как *Deus ex machina*<sup>1</sup>, чтобы вырвать у колона весь излишек его продукта над издержками производства. Он пользуется вмешательством собственника, чтобы объяснить собственность, и вмешательством ренты, чтобы объяснить ренту. Он отвечает на вопрос, повторяя его и прибавляя к нему лишний слог.

Заметим еще, что, определяя земельную ренту различием в плодородии почвы, г. Прудон приписывает ей новое про-

<sup>1</sup> *Deus ex machina* — буквально значит: бог из машины, по смыслу же: вдруг, по мановению волшебного жезла. Драматурги древности заканчивали свои трагедии при помощи неожиданного вмешательства богов, поднимавшихся на особой машине. — *Ред.*

исхождение, так как, прежде чем стали ценить землю по различной степени ее плодородия, она «не была», по мнению г. Прудона, «меновою стоимостью, но была общей». А куда же девалась фикция ренты, порожденной *необходимостью* вернуть к земле человека, который *готов был потеряться в бесконечной пустоте?*

Освободим теперь учение Рикардо от всех провиденциальных, аллегорических и мистических фраз, в которые так старательно облек его г. Прудон.

Рента, по Рикардо, есть земельная собственность в буржуазном состоянии, т. е. феодальная собственность, подчиненная условиям буржуазного производства.

Мы видели, что, по учению Рикардо, цена всех предметов определяется, в последнем счете, издержками производства, включая сюда промышленную прибыль; другими словами, она определяется количеством затраченного рабочего времени. В мануфактурной промышленности цена продукта, полученного при затрате наименьшего количества труда, определяет цену всех остальных товаров того же рода, если только количество наиболее дешевых и наиболее производительных орудий производства может быть увеличиваемо до бесконечности, а свободная конкуренция необходимо создает рыночную цену, т. е. создает одну общую цену для всех продуктов одного и того же рода.

В земледельческой же промышленности цена всех продуктов одного и того же рода определяется, наоборот, ценою продукта, произведенного при затрате наибольшего количества труда. Прежде всего, здесь нельзя, как в мануфактурной промышленности, увеличивать по произволу количество орудий производства одинаковой степени производительности, т. е. земель одинаковой степени плодородия. Затем постепенный рост народонаселения приводит здесь к эксплуатации земель более низкого качества или к вложению в прежние участки новых капиталов, являющихся менее производительными по сравнению с прежде вложенными. В том и другом случае тратится большее количество труда для приобретения сравнительно меньшего количества продуктов. Так как необходимость в этом излишке труда создана потребностями населения, то продукт земли, потребовавший более дорогой обработки, непременно находит себе вынужденный сбыт, как и продукт почвы, обработка которой обходится дешевле. А так как конкуренция нивелирует рыночные цены, то продукты лучшего участка будут продаваться так же дорого, как и продукты худшего участка. Этот-то изли-

шек в цене продуктов, собранных с лучшего участка, над издержками их производства и составляет ренту. Если бы всегда имелись под руками земли одинаковой степени плодородия; если бы в земледелии можно было, так же как в мануфактурной промышленности, постоянно прибегать к менее стоящим и более производительным машинам, или если бы последующие вложения капитала в землю приносили столько же, как и первые, то цена земледельческих товаров определялась бы себестоимостью продуктов, произведенных при помощи наилучших орудий производства, как мы это видели относительно цены мануфактурных продуктов. Но тогда исчезла бы и рента.

Для того чтобы теория Рикардо в общем была верна, необходимо еще, чтобы капиталы могли свободно прилагаться к различным отраслям промышленности; чтобы сильно развитая конкуренция между капиталистами привела прибыль к равному уровню; чтобы фермер превратился в обыкновенного промышленного капиталиста, который требует на свой капитал, раз он вкладывает его в землю более низкого качества, прибыль, равную той, которую он мог бы извлечь из своего капитала в любой мануфактуре; чтобы обработка земли велась по системе крупной промышленности; чтобы, наконец, сам земельный собственник не добивался ничего, кроме денежного дохода.

Может произойти, как в Ирландии, что ренты еще вовсе не существует, хотя фермерство достигло крайнего развития. Ввиду того что рента является избытком не только над заработной платой, но и над промышленной прибылью, она не может существовать там, где доход землевладельца является простым предварительным вычетом из заработной платы.

Итак, рента не только не превращает эксплуатирующего землю, т. е. фермера, в *простого работника* и не «вырывает у колона излишек продукта, на который он не может не смотреть как на свой собственный», но ставит, наоборот, перед земельным собственником вместо раба, барщинного крестьянина, оброчного или наемного рабочего, — промышленного капиталиста, который эксплуатирует землю посредством своих наемных рабочих и платит землевладельцам за аренду лишь излишек сверх издержек производства, включая сюда прибыль на капитал. (С тех пор как установился институт ренты, землевладелец получает лишь излишек сверх издержек производства, включая в последние не только заработную плату, но также и промышленную прибыль. Следовательно, именно у землевладельца рента вырвала часть его

доходов<sup>1)</sup>. Прошло много времени, прежде чем феодальный арендатор был вытеснен промышленным капиталистом. В Германии, например, такое превращение началось лишь в последней трети XVIII века, и лишь в Англии эти отношения между промышленным капиталистом и земельным собственником достигли полного своего развития.

Пока существовал только *колон* г. Прудона,—ренты не было. Но раз существует рента, — колоном является уже не фермер, а рабочий становится колоном фермера. Принижение работника до роли простого рабочего, поденщика, наемника, работающего на промышленного капиталиста; появление промышленного капиталиста, эксплуатирующего землю на таких же основаниях, как любую фабрику; превращение земельного собственника из мелкого суверена в обыкновенного ростовщика — вот различные отношения, выражаемые рентой.

Рента, по Рикардо, есть превращение патриархального земледелия в промышленное, приложение промышленного капитала к земле, перенесение городской буржуазии в деревню. Вместо того чтобы *привязать человека к природе*, рента только связала эксплуатацию земли с конкуренцией. Будучи раз установлена в виде ренты, земельная собственность сама является уже *результатом конкуренции*, так как с этих пор она становится в зависимость от продажной стоимости земледельческих продуктов. В качестве ренты земельная собственность мобилизуется и становится предметом торговли. Рента возможна лишь с того момента, когда развитие городской промышленности и явившаяся в результате этого общественная организация вынуждают земельного собственника стремиться к одной лишь прибыли от продажи, к одному только денежному доходу от своих земледельческих продуктов и в конце концов не позволяют ему видеть в его земельной собственности ничего, кроме машины, кующей ему деньги. Рента до такой степени отделила земельного собственника от земли, от природы, что он может даже вовсе не знать своих поместий, как-это случается в Англии. Что же касается фермера, промышленного капиталиста и земледельческого рабочего, то они не более привязаны к земле, из которой извлекают доход, чем привязан мануфактурный предприниматель или

<sup>1</sup> Текст, взятый в скобки, имеется во французском издании 1847 г., но отсутствует в немецких изданиях и во французском издании 1896 г. — *Ред.*

рабочий к тому хлопку или к той шерсти, которую они обрабатывают; привязанность они чувствуют лишь к цене изготавливаемых ими продуктов, к денежному доходу. Отсюда перемиады реакционных партий, которые жаждут возвращения феодализма, доброй патриархальной жизни, простых нравов и великих добродетелей наших предков. Подчинение земли тем же законам, которые управляют и всякой другой промышленностью, служит и всегда останется предметом корыстных сожалений. Итак, рента, можно сказать, была той движущей силой, которая втянула идиллию в историческое движение.

Предположив буржуазное производство как необходимое условие существования ренты, Рикардо тем не менее применяет понятие о ренте к земельной собственности всех времен и народов. Это — общее заблуждение всех экономистов, которым отношения буржуазного производства представляются в виде вечных категорий.

От провиденциальной цели ренты, которая [цель] для Прудона заключается в превращении *колона* в *несущего ответственность работника*, — г. Прудон переходит к уравнительному распределению ренты.

Рента образуется, как мы это только что видели, посредством *равенства цен* продуктов, собранных с участков земли *неравного плодородия*, так что гектолитр зерна, стоивший 10 фр., продается за 20 фр., если издержки производства на земле низшего качества поднимаются до 20 фр.

Пока необходимость принуждает потребителей покупать все земледельческие продукты, доставленные на рынок, их рыночная цена определяется издержками производства наиболее дорогих продуктов. Именно это уравнение цен, вытекающее из конкуренции, а вовсе не из различия в плодородии почвы, доставляет собственнику лучшей земли 10 фр. ренты с каждого проданного его фермером гектолитра.

Предположим на время, что цена зерна определяется количеством труда, необходимого для его производства; тогда гектолитр зерна, собранный с земли лучшего качества, будет продаваться по 10 фр., между тем как тот же гектолитр, собранный с земли худшего качества, будет стоить 20 фр. Допустив это, мы увидим, что средняя рыночная цена будет 15 фр., тогда как по закону конкуренции она достигает 20 фр. Если бы средняя цена равнялась 15 фр., то не могло бы быть ни уравнительного, ни иного распределения ренты, так как не было бы и самой ренты. Рента потому только и существует, что гектолитр зерна, стоящий производителю



10 фр., продается за 20 фр. Г-н Прудон предполагает равенство рыночных цен, при неравных издержках производства, для того чтобы притти к уравнительному распределению продукта неравенства.

Мы понимаем, почему такие экономисты, как Милль, Шербюлье, Гильдич и др., требовали присвоения ренты государством и употребления ее для замены налогов. Это было лишь открытое выражение ненависти промышленного капиталиста к земельному собственнику, являющемуся в его глазах бесполезным и излишним в общем ходе буржуазного производства.

Но заставить сначала платить по 20 фр. за гектолитр зерна, чтобы заняться затем общим распределением лишних 10 фр., взятых предварительно с потребителей, — этого действительно совершенно достаточно для того, чтобы *общественный гений меланхолически шествовал по зигзагообразному пути* и разбил себе голову о первый попавшийся угол.

Рента становится под пером г. Прудона «*громадным кадастром*, составляемым с противоположных сторон собственниками и фермерами... ради высшей цели... ввиду конечного результата, состоящего в уравнении владения землей между людьми, извлекающими доход с земли, и промышленниками».

Только в условиях современного общества тот или иной создаваемый рентой кадастр может иметь какую-нибудь практическую ценность.

Но мы уже доказали, что арендная плата, уплачиваемая фермером [земельному] собственнику, является более или менее точным выражением ренты лишь в странах, наиболее развитых в промышленном и торговом отношениях. Да и тут в арендную плату включается часто процент на капитал, вложенный в землю ее собственником. Положение земельных участков, соседство городов и многие другие обстоятельства влияют также на арендную плату и видоизменяют ренту. Этих решающих доводов было бы достаточно, чтобы доказать неточность кадастра, основанного на ренте.

С другой стороны, рента не может служить и постоянным показателем степени плодородия данного участка земли, так как современное приложение химии беспрестанно меняет природу почвы, а геологические знания начинают именно в настоящее время опрокидывать все старые оценки сравнительного плодородия. Лишь около двадцати лет тому назад началась разработка обширных земель в восточных графствах Англии, остававшихся до тех пор необработанными вследствие незнания отношения между черноземом и составом подпочвы.

Таким образом, история не только не дает нам в ренте готового кадастра, но постоянно изменяет и полностью опрокидывает все уже существующие кадастры.

Наконец, плодородие вовсе не является таким естественным качеством почвы, как это может показаться: оно тесно связано с современными общественными отношениями. Земля может быть очень плодородна для обработки под хлеб, и, тем не менее, рыночные цены могут заставить земледельца обратить ее в искусственный луг и сделать, таким образом, бесплодной.

Г-н Прудон изобрел свой кадастр, не могущий равняться даже с обыкновенным кадастром, лишь для того, чтобы воплотить в нем *провиденциально-уравнительную цель* ренты.

«Рента, — продолжает г. Прудон, — есть процент, который платят за никогда не уничтожающийся капитал, т. е. за землю. И так как материальный состав этого капитала не может быть увеличен, но может лишь бесконечно улучшаться в отношении к способу использования, то отсюда вытекает, что, в то время как, вследствие избытка капиталов, процент за ссуды (*mutuum*) имеет тенденцию постоянно уменьшаться, рента стремится к постоянному увеличению, так как в результате промышленного совершенствования улучшается обработка земли... Такова рента по своей сущности» (т. II, стр. 265).

На этот раз г. Прудон видит в ренте все признаки процента, с тем лишь отличием, что она является процентом на особого рода капитал. Этот капитал есть земля, капитал вечный, «материальный состав которого не может быть увеличен, но может лишь бесконечно улучшаться по отношению к способу использования». В прогрессивном ходе цивилизации процент стремится к постоянному понижению, рента же — к постоянному повышению. Процент падает в силу избытка капиталов, рента повышается вследствие усовершенствований, внесенных в промышленность, результатом которых являются все лучшие и лучшие способы использования земли.

Такова сущность мнения г. Прудона.

Рассмотрим сперва, насколько можно называть ренту процентом на капитал.

Для самого земельного собственника рента есть процент на тот капитал, который заплачен им за землю или мог бы быть выручен при ее продаже. Но, продавая или покупая землю, он продает или покупает только ренту. Цена, которую он платит за приобретение ренты, соразмеряется

с общим уровнем процента и не имеет ничего общего с самой природой ренты. Процент на капиталы, вложенные в землю, обыкновенно ниже процента на капиталы, помещенные в мануфактуры или в торговлю. Таким образом, если не отличать от самой ренты процента, приносимого землей ее собственнику, то окажется, что процент с капитала, вложенного в землю, падает еще ниже процента с других капиталов. Но речь идет не о продажной или покупной цене ренты, не об ее продажной стоимости, не о ренте капитализированной, а о ренте самой по себе.

Арендная плата, кроме собственно ренты, может еще заключать в себе процент на капитал, вложенный в землю. В таком случае эту часть арендной платы земельный собственник получает не в качестве земельного собственника, а в качестве капиталиста. Это, однако, не та рента, в собственном смысле слова, о которой идет речь.

Пока землей не пользуются как средством производства, она не представляет собою капитала. Земля-капитал может увеличиваться так же точно, как и другие орудия производства. Говоря языком г. Прудона, мы ничего не прибавляем к ее материи, но увеличиваем количество земель, служащих орудием производства. Одним только новым вложением капиталов в участки земли, уже превращенные в средства производства, увеличивают землю-капитал без всякого увеличения материи, т. е. пространства земли. Под материей земли г. Прудон понимает землю в ее пространственной ограниченности. Что касается вечности, приписываемой им земле, то мы ничего не имеем против присвоения ей, как материи, этого качества. Но земля-капитал не более вечна, чем всякий другой капитал.

Золото и серебро, приносящие процент, так же прочны и вечны, как земля. Если цена золота и серебра падает, в то время как цена земли растет, то этим земля ни в коем случае не обязана своей более или менее вечной природе.

Земля-капитал есть основной капитал, но основной капитал так же изнашивается, как и оборотные капиталы. Улучшения, применяемые к земле, требуют воспроизведения и поддержки; они служат лишь известное время и в этом отношении совершенно подобны всем другим улучшениям, которыми пользуются для превращения материи в средство производства. Если бы земля-капитал была вечной, то некоторые местности имели бы совсем иной вид, чем теперь; римская Кампанья, Сицилия и Палестина оставались бы во всем блеске их бывшего процветания.

Могут даже встретиться случаи, когда земля-капитал может исчезнуть, между тем как внесенные в нее улучшения остаются неприкосновенными.

Во-первых, это случается каждый раз, когда рента, в собственном смысле слова, уничтожается вследствие конкуренции новых, более плодородных земель; во-вторых, улучшения, имевшие свою цену в известную эпоху, теряют ее с того момента, когда развитие агрономии делает их всеобщими.

Представителем земли-капитала является не землевладелец, а фермер. Доход, приносимый землей в качестве капитала, это не рента, а процент и промышленная прибыль. Есть земли, которые приносят этот процент и прибыль, не принося ренты.

Словом, земля, в той мере как она приносит процент, есть земля-капитал, но как земля-капитал она не дает ренты, не образует земельной собственности. Рента — результат общественных отношений, при которых совершается эксплуатация земли. Она не может быть следствием более или менее прочной, более или менее вечной природы земли. Рента обязана своим происхождением обществу, а не почве.

По мнению г. Прудона, «улучшения в обработке земли» — следствие «усовершенствований в промышленности» — составляют причину постоянного возрастания ренты. Эти улучшения, наоборот, заставляют ее периодически падать.

В чем состоит вообще всякое улучшение, все равно — в земледелии или мануфактуре? В том, чтобы производить больше с помощью того же количества труда, в том, чтобы производить столько же и даже больше при применении меньшего количества труда. Благодаря таким улучшениям фермер избавлен от необходимости употреблять большее количество труда для приобретения сравнительно меньшего продукта. Ему нет надобности переходить к обработке земель низшего качества, и его последовательные вложения капитала в одну и ту же землю остаются одинаково производительными. Таким образом, в противоположность мнению г. Прудона, эти улучшения не только не поднимают ренты, но составляют, наоборот, временные препятствия к ее повышению.

Английские землевладельцы XVII века настолько хорошо знали эту истину, что боролись против успехов земледелия, опасаясь уменьшения своих доходов. (См. Петти, английского экономиста времен Карла II.)

## § V. СТАЧКИ И РАБОЧИЕ КОАЛИЦИИ

«Всякое движение, направленное к повышению заработной платы, не может привести ни к чему иному, кроме повышения цены на хлеб, вино и т. д., т. е. к дороговизне. Что такое, в самом деле, заработная плата? Это себестоимость производства хлеба и т. д.; это полная цена всех вещей. Пойдем далее. Зарботная плата есть пропорциональность элементов, составляющих богатство и каждый день производительно потребляемых массой работников. Поэтому удвоить зарботную плату... значило бы выдать каждому производителю часть, превышающую его продукт, что само по себе заключает противоречие. Если же повышение захватит лишь небольшую часть отраслей промышленности, то оно вызовет всеобщее замешательство в обмене, одним словом *дороговизну*... Я утверждаю, что за стачками, вызвавшими увеличение заработной платы, не может не последовать *всеобщее вздорожание*; это так же верно, как дважды два — четыре» (Прудон, т. I, стр. 110 и 111).

Мы отрицаем все эти положения за исключением одного: что дважды два — четыре.

Во-первых, не может быть *всеобщего вздорожания*. Если цена всех предметов удваивается одновременно с заработной платой, то от этого не происходит никакого изменения цен, а изменяются лишь выражения.

Во-вторых, общее повышение заработной платы никогда не может привести к более или менее общему вздорожанию товаров. В самом деле, если бы все отрасли промышленности употребляли одинаковое количество рабочих по отношению к своему основному капиталу или к применяемым орудиям труда, то всеобщее повышение заработной платы повело бы к всеобщему понижению прибыли, рыночная же цена товаров не потерпела бы никакого изменения.

Но так как отношение ручного труда к основному капиталу не во всех отраслях промышленности одинаково, то все отрасли, употребляющие сравнительно больший основной капитал и меньшее число рабочих, принуждены будут рано или поздно понизить цену своих товаров. В противном случае, если бы цена их товаров не понизилась, то их прибыль поднялась бы выше общего уровня прибылей. Ведь машины не получают заработной платы. Поэтому общее повышение заработной платы было бы менее чувствительно для отраслей промышленности, употребляющих сравнительно с другими больше машин и меньше рабочих. Но возрастание

тех или других прибылей над общим уровнем, при постоянном стремлении конкуренции к их уравниванию, могло бы быть только временным. Таким образом, помимо некоторых колебаний, общее повышение заработной платы повело бы не к всеобщему вздорожанию, как говорит г. Прудон, а к частичному понижению, т. е. к понижению рыночной цены товаров, изготовляемых преимущественно при помощи машин.

Повышение и понижение прибыли и заработной платы выражают лишь пропорцию, в которой капиталисты и работники участвуют в продукте рабочего дня, вовсе не влияя в большинстве случаев на цену продукта. Но чтобы «стачки, вызвавшие увеличение заработной платы, вели к всеобщему повышению цен и даже к дороговизне», — это одна из тех идей, которые могут зародиться лишь в мозгу непонятого поэта.

В Англии стачки постоянно служили поводом к изобретению и применению тех или иных новых машин. Машины были, можно сказать, оружием, которое употребляли капиталисты, чтобы сломить восстание квалифицированных рабочих. *Self-acting mule* [автоматическая прядильная машина], величайшее изобретение новейшей промышленности, прогнал с поля битвы возмущившихся прядильщиков. И если бы коалиции и стачки приводили только к тому, что рабочим были бы противопоставлены усилия изобретательской мысли в механике, то и тогда они оказывали бы громадное влияние на развитие промышленности.

«Я, — продолжает г. Прудон, — нахожу в статье г. Леона Фоше... за сентябрь 1845 г., что с некоторого времени английские рабочие отвыкают от коалиций, прогресс, с которым их, конечно, можно только поздравить; но такое улучшение нравственности рабочих является по преимуществу следствием их экономического обучения. «Не от фабрикантов зависит заработная плата, — воскликнул на митинге в Болтоне один прядильщик. — В периоды депрессии хозяева выполняют, так сказать, только роль кнута в руках необходимости и должны бить волей или неволей. Регулирующим принципом является отношение между спросом и предложением, а над ним хозяева не властны...» В добрый час, восклицает г. Прудон, вот, наконец, прекрасно выдрессированные, образцовые рабочие и т. д., и т. д., и т. д. Этой беды еще только недоставало Англии; но через пролив она не перейдет» (Прудон, т. I, стр. 261 и 262).

Из всех английских городов именно в Болтоне радикализм наиболее развит. Рабочие Болтона известны как самые

ярые революционеры. Во время большой агитации против хлебных законов английские фабриканты не считали возможным бороться с земельными собственниками, не выдвигая вперед рабочих. Но так как интересы рабочих не менее противоположны интересам фабрикантов, чем интересы фабрикантов интересам земельных собственников, то фабриканты, естественно, должны были терпеть поражения на митингах рабочих. Что же сделали фабриканты? Чтобы соблюсти внешние приличия, они организовали митинги, состоявшие по большей части из мастеров, из небольшого числа преданных им рабочих и из *друзей торговли* в собственном смысле этого слова. Когда затем настоящие рабочие пытались принять участие в этих митингах, как это было в Болтоне и Манчестере, чтобы протестовать против таких поддельных демонстраций, им запретили вход под тем предлогом, что это был *ticket-meeting*. Под этим словом подразумевают митинги, на которые допускаются лишь лица, снабженные входными билетами. Между тем афиши, расклеенные на стенах, объявляли о публичных митингах. Всякий раз, когда происходили эти митинги, газеты фабрикантов давали напыщенные и подробные отчеты о произносившихся там речах. Нечего и говорить, что эти речи принадлежали мастерам. Лондонские газеты перепечатывали их с буквальной точностью. Г-н Прудон имел несчастье принять мастеров за обычных рабочих и строжайшим образом запретил им переплывать пролив.

Если в 1844 и 1845 гг. стало меньше слышно о стачках, так это потому, что 1844 и 1845 гг. являются первыми годами процветания английской промышленности с 1837 г. И тем не менее ни один из *тред-юнионов* не распался.

Послушаем теперь болтонских мастеров. По их мнению, фабриканты не имеют власти над заработной платой, потому что не от них зависит цена продукта; а цена продукта не зависит от них потому, что они не имеют власти над мировым рынком. На этом основании они утверждали, что не следует устраивать коалиций с целью вырвать у хозяев увеличение заработной платы. Г-н Прудон, наоборот, запрещает коалиции из опасения, чтобы они не привели к повышению заработной платы, что вызвало бы всеобщую дороговизну. Нам нет надобности указывать, что в одном пункте между мастерами и г. Прудоном существует самое трогательное согласие: в том, что повышение заработной платы равносильно повышению цены продуктов.

Но действительно ли досада г. Прудона вызывается опасением дороговизны? Нет. Он сердится на болтонских мастеров просто за то, что они определяют стоимость *спросом и предложением* и нимало не заботятся о *конституированной стоимости*, о стоимости, достигшей состояния конституированности, о конституировании стоимости, включая сюда *непрерывную обменяемость* и все остальные *пропорциональности отношений* и *отношения пропорциональности*, прикрываемые провидением.

«Стачка рабочих *противозаконна*; это говорит не только уголовный кодекс, но также и экономическая система и необходимость установленного порядка... Свобода каждого отдельного рабочего располагать своей личностью и своими руками может быть терпима, но общество не может позволить рабочим прибегать посредством коалиций к насилию над монополиями» (т. I, стр. 234 и 235).

Г-н Прудон старается выдать статью уголовного кодекса за необходимый и всеобщий результат отношений буржуазного производства.

В Англии коалиции дозволены актом парламента, и именно экономическая система вынудила парламент утвердить такой закон. Когда в 1825 г., во время министерства Гескиссона, парламент должен был изменить законодательство, чтобы привести его в большее соответствие с порядком вещей, созданным свободной конкуренцией, он не мог не отменить и всех законов, запрещавших рабочие коалиции. Чем сильнее развиваются современная промышленность и конкуренция, тем больше является элементов, вызывающих и поддерживающих коалиции, а как только коалиции становятся экономическим фактом, с каждым днем приобретающим все большую устойчивость, они по необходимости скоро становятся законным фактом.

Поэтому соответствующая статья уголовного кодекса доказывает только, что во время Учредительного собрания и при империи современная промышленность и конкуренция не были еще достаточно развиты.

Экономисты и социалисты<sup>1</sup> согласны в одном только пункте, а именно осудить *коалиции*. Только они различно мотивируют свой приговор.

Экономисты говорят рабочим: «Не объединяйтесь в коалиции. Прибегая к ним, вы сковываете правильный ход про-

<sup>1</sup> Т. е. [социалисты] того времени: фурьеристы во Франции, оуэнисты в Англии. — Ф. Э.



мышленности, мешаете фабрикантам удовлетворять заказчиков, вносите замешательство в торговлю и ускоряете введение машин, которые, делая бесполезной часть вашего труда, принуждают вас тем самым принимать еще более пониженную заработную плату. К тому же ваши усилия напрасны. Ваша заработная плата всегда будет определяться отношением между спросом на рабочие руки и их предложением; возмущение против вечных законов политической экономии так же смешно, как и опасно».

Социалисты говорят рабочим: «Не объединяйтесь в коалиции, так как, в конце концов, что же вы этим выиграете? Повышение заработной платы? Экономисты докажут вам с полной очевидностью, что даже в случае успеха за кратковременным выигрышем нескольких грошей последует постоянное падение заработной платы. Искусные счетчики докажут вам, что пройдут годы, прежде чем увеличение заработной платы вознаградит вас лишь за издержки по организации и поддержке коалиций. Мы же, в качестве социалистов, скажем вам, что даже помимо этого денежного вопроса вы и при коалиции не станете от этого в меньшей степени рабочими, а хозяева всегда останутся хозяевами в будущем, как были ими в прошлом. Итак, никаких коалиций, никакой политики, ибо устраивать коалиции не значит ли это заниматься политикой?»

Экономисты хотят, чтобы рабочие оставались в обществе, каким оно сложилось и было ими записано и закреплено в их учебниках.

Социалисты советуют оставить в покое старое общество, чтобы с тем большей легкостью войти в новое, уготованное ими с такой предусмотрительностью.

Но, вопреки тем и другим, вопреки учебникам и утопиям, коалиции ни на минуту не переставали идти вперед и увеличиваться вместе с развитием и ростом современной промышленности. В настоящее время можно даже сказать, что степень развития коалиций в данной стране с точностью указывает место, занимаемое ею в иерархии мирового рынка. Англия, где промышленность достигла наивысшей степени развития, имеет также самые обширные и наилучшим образом организованные коалиции.

В Англии рабочие не ограничились частичными коалициями, не имевшими другой цели, кроме преходящей стачки, и исчезавшими вместе с нею. Были созданы постоянные союзы, *трэд-юнионы*, которые служат оплотом рабочих в их борьбе против предпринимателей. Ныне все эти местные

*трэд-юнионы* объединены в *Национальную ассоциацию объединенных профессий* [*National Association of United Trades*], насчитывающую до 80 000 членов и имеющую центральный комитет в Лондоне. Организация этих стачек, коалиций, *трэд-юнионов* шла одновременно с политической борьбой рабочих, составляющих в настоящее время под именем *чартистов* большую политическую партию.

Первые попытки работников к *объединению* между собою всегда принимают форму коалиций.

Крупная промышленность скопляет в одном месте массу неизвестных друг другу людей. Конкуренция раскалывает их интересы. Но охрана заработной платы, этот общий интерес по отношению к их хозяину, объединяет их одной общей идеей сопротивления, *коалиции*. Таким образом, коалиция всегда имеет двойную цель: прекратить конкуренцию между рабочими, чтобы быть в состоянии общими силами конкурировать с капиталистом. Если первой целью сопротивления являлось лишь поддержание заработной платы, то потом, по мере того как идея обуздания рабочих объединяет самих капиталистов, коалиции, вначале изолированные, формируются в группы, и охрана рабочими их союзов против постоянно объединенного капитала становится для них более необходимой, чем охрана заработной платы. До какой степени это верно, показывает тот факт, что рабочие, к крайнему удивлению английских экономистов, жертвуют значительной частью своей заработной платы в пользу союзов, основанных, по мнению этих экономистов, лишь ради заработной платы. В этой борьбе—настоящей гражданской войне—объединяются и развиваются все элементы для грядущей битвы. Достигши этого пункта, коалиция принимает политический характер.

Экономические условия превратили сперва массу народонаселения в работников. Господство капитала создало для этой массы одинаковое положение и общие интересы. Таким образом, по отношению к капиталу масса является классом, но еще не для себя. В борьбе, намеченной нами лишь в некоторых ее фазисах, эта масса сплачивается, она конституируется как класс для себя. Защищаемые ею интересы становятся классовыми интересами. Но борьба класса с классом есть борьба политическая.

В истории буржуазии мы должны различать два фазиса: в первом — она складывается в класс под господством феодального порядка и абсолютной монархии; во втором, — уже самоопределившись как класс, — она низвергает феодализм

и монархию, чтобы из старого общества создать общество буржуазное. Первый из этих фазисов был самым длительным и потребовал наибольших усилий. Он тоже начался с частичных коалиций против феодальных сеньеров.

Сделано не мало исследований, чтобы проследить различные исторические фазисы, пройденные буржуазией, начиная с городской общины до конституирования буржуазии как класса.

Но когда речь идет о том, чтобы дать себе ясный отчет относительно стачек, коалиций и других форм, в которых пролетарии на наших глазах приводят в действие свою организацию как класса, то одних охватывает самый реальный страх, тогда как другие выказывают *трансцендентальное* презрение.

Существование угнетенного класса составляет жизненное условие каждого общества, основанного на антагонизме классов. Следовательно, под освобождением угнетенного класса неизбежно подразумевается создание нового общества. Для того чтобы угнетенный класс мог освободить себя, нужно, чтобы приобретенные уже производительные силы и существующие общественные отношения не могли долее существовать рядом. Из всех орудий производства наибольшую производительную силу представляет сам революционный класс. Организация революционных элементов, как класса, предполагает существование всех тех производительных сил, которые могли зародиться в недрах старого общества.

Значит ли это, что с падением старого общества наступит господство нового класса, выражающееся в новой политической власти? Нет.

Условие освобождения рабочего класса есть уничтожение всех классов; так же точно, как условием освобождения третьего сословия<sup>1</sup>, буржуазного звания [l'ordre], было уничтожение всех сословий и всех званий.

Рабочий класс поставит, в ходе развития, на место старого буржуазного общества такую ассоциацию, которая исключает классы и их противоположность; не будет уже никакой собственно политической власти, ибо именно полити-

---

<sup>1</sup> Слово «сословие» употребляется здесь в историческом смысле сословий феодального государства с определенными, ограниченными сословными привилегиями. Буржуазная революция уничтожила сословия вместе с их привилегиями. Буржуазное общество знает только *классы*. Поэтому тот, кто называет пролетариат «четвертым сословием», впадает в полнейшее противоречие с историей. — Ф. Э.

ческая власть есть официальное выражение противоположности классов внутри буржуазного общества.

А до тех пор антагонизм между пролетариатом и буржуазией останется борьбой класса против класса, борьбой, которая, будучи доведена до высшей степени своего напряжения, есть полная [totale] революция. Впрочем, нужно ли удивляться, что общество, основанное на *противоположности* классов, приходит, как к последней развязке, к *грубому противоречию*, к физическому столкновению людей?

Не говорите, что социальное движение исключает политическое. Никогда не бывает политического движения, которое не было бы в то же время и социальным.

Только при таком порядке вещей, когда не будет больше классов и классового антагонизма, *социальные эволюции* перестанут быть *политическими революциями*. До тех же пор накануне каждого полного переустройства общества последним словом социальной науки всегда будет:

«Битва или смерть; кровавая борьба или уничтожение. Такова неотразимая постановка вопроса». (*Жорж Занд.*)

## ПИСЬМО К. МАРКСА П. АННЕНКОВУ

Rue d'Orléans, 42, Fbg. Namur

Брюссель, 28 декабря<sup>1</sup>.

Дорогой г. Анненков!

Вы уже давно имели бы от меня ответ на Ваше письмо от 1 ноября, если бы мой книгопродавец не задержал до прошлой недели присылку мне книги г. Прудона «Философия нищеты». Я пробежал ее в два дня, чтобы иметь возможность тотчас же сообщить Вам свое мнение. Так как я прочел книгу очень бегло, то я не в состоянии останавливаться на деталях, — я могу говорить только об общем впечатлении, произведенном ею на меня. Если бы Вы выразили желание, я мог бы более подробно разобрать ее в следующем письме.

Признаюсь откровенно, что в общем я нахожу эту книгу плохой — и очень плохой. Вы сами шутите в своем письме по поводу «уголка немецкой философии», которым г. Прудон щеголяет в этой бесформенной и претенциозной работе, но Вы полагаете, что его экономические построения не были отравлены ядом философии. Я также далек от того, чтобы приписывать погрешности экономических построений г. Прудона его философии. Г-н Прудон дает нам ложную критику политической экономии не потому, что он является обладателем смехотворной философии, — он преподносит нам смехотворную философию потому, что совершенно не понял современного общественного строя в его сцеплениях [dans son engrenement], употребляя термин, который г. Прудон заимствует у Фурье, как заимствует у него многое другое.

Почему г. Прудон говорит о боге, о всеобщем разуме, о безличном разуме человечества, который никогда не ошибается, который всегда самому себе равен, о котором нужно только составить себе правильное представление, чтобы оказаться обладателем истины? Почему прибегает он к плохо

<sup>1</sup> Письмо написано в 1846 г. — *Ред.*

усвоенному гегельянству, чтобы изображать из себя глубокого мыслителя?

Он сам дает нам ключ к этой загадке. Г-н Прудон видит в истории известный ряд общественных эволюций: он полагает, что прогресс осуществляется в истории; он считает, наконец, что люди, взятые как индивиды, действуют бессознательно, что они не понимают своего собственного развития, т. е. что их общественное развитие кажется на первый взгляд явлением отличным, обособленным, независимым от их индивидуального развития. Он не в состоянии объяснить эти факты — отсюда гипотеза о проявляющем себя в истории всеобщем разуме. Нет ничего легче, как придумывать мистические причины, т. е. фразы, лишённые всякого смысла.

Но разве г. Прудон, сознавая, что ничего не понимает в историческом развитии человечества, — а он сознается в этом, когда прибегает к громким словам «всеобщий разум», «бог» и т. д., — разве тем самым он не признается косвенно и неизбежно и в том, что он не способен разобраться и в *экономическом развитии?*

Что такое общество, какова бы ни была его форма? Продукт взаимодействия людей. Свободны ли люди в выборе той или другой формы общественного строя? — Ни в малейшей мере. Предположите известную степень развития производительных способностей [*facultés*] людей, — и вы получите определенную форму обмена и потребления. Предположите известную стадию развития производства, обмена, потребления, — и вы получите определенную форму общественного устройства, определенную организацию семьи, сословий или классов, словом — определенное гражданское общество. Предположите определенное гражданское общество, — и вы получите определенный политический строй, который является лишь официальным выражением гражданского общества. Вот чего г. Прудон никогда не поймет, ибо он уверен, что делает великое дело, когда апеллирует от государства к гражданскому обществу, т. е. от официального выражения общества — к самому официальному обществу.

Нет надобности добавлять, что люди отнюдь не могут произвольно распоряжаться *своими производительными силами*, которые являются базисом всей их истории, ибо всякая производительная сила есть сила уже приобретенная, продукт предшествующей деятельности. Таким образом, производительные силы являются результатом практической

энергии людей, но сама эта энергия определена условиями, в которые люди поставлены уже приобретенными производительными силами, общественной формой устройства, существовавшей до них, которую они поэтому не создают и которая является продуктом деятельности предшествовавшего поколения. В силу того простого факта, что каждое последующее поколение получает в свое распоряжение производительные силы, которые приобретены были предшествовавшим поколением и которые служат ему как бы сырым материалом для нового производства, — образуется преемственная связь в истории людей, образуется история человечества, которая тем полнее становится историей человечества, чем больше развиваются производительные силы людей и, следовательно, их общественные отношения. Этим обуславливается необходимое следствие: общественная история людей является всегда, — сознают они это или нет, — лишь историей их индивидуального развития. Их материальные отношения образуют базу всех их отношений. Эти материальные отношения являются лишь необходимой формой, в которой осуществляется их материальная и индивидуальная деятельность.

Г-н Прудон смешивает идеи и вещи. Люди никогда не отказываются от того, что уже добыли, но это вовсе не означает, что они никогда не отказываются от общественной формы, в которой приобретены были определенные производительные силы. Совсем наоборот. Чтобы не лишиться добытых результатов, чтобы не потерять плодов цивилизации, люди вынуждены, как только способ их общения [*commerce*] между собою перестает соответствовать уже приобретенным производительным силам, изменить все традиционные общественные формы. — Я употребляю здесь слово «*commerce*» в самом общем смысле этого слова, в том же, в каком мы на немецком языке употребляем слово «*Verkehr*». Например: привилегии, цеховые и корпоративные учреждения, режим регламентации средних веков были общественными отношениями, которые одни только соответствовали тогда уже приобретенным производительным силам и предшествовавшему общественному строю, от которого произошли эти учреждения. Под охраной корпоративного режима и режима регламентации накопились капиталы, развилась морская торговля, основаны были колонии, и люди потеряли бы плоды своих усилий, если бы они пожелали сохранить формы, под охраной которых эти плоды созрели. Вот почему и прокатились два громовых удара —

революции 1640 и 1688 годов. Все старые экономические формы, общественные отношения, им соответствовавшие, политический строй, бывший официальным выражением старого гражданского общества, были сломлены в Англии. Таким образом, экономические формы, в рамках которых люди производят, потребляют, совершают обмен, являются *преходящими и историческими*. С приобретением новых производительных способностей люди меняют свой способ производства, а вместе со способом производства они меняют все экономические отношения, которые были лишь необходимыми отношениями этого определенного способа производства.

Этого-то г. Прудон не понял, а еще меньше он это доказал. Г-н Прудон, который не в состоянии вскрывать реальное движение истории, преподносит нам фантазмагорию, притязающую на то, чтобы прослыть фантазмагорией диалектической. Он не чувствует надобности говорить нам о XVII, XVIII и XIX веках, ибо его история протекает в туманной среде фантазии и витает высоко над временем и пространством. Словом — это гегельянский хлам, это не история вообще, это не светская история — история людей, — а история священная — история идей. С его точки зрения человек — только орудие, которым идея, или вечный разум, пользуется для своего развития. *Эволюции*, о которых говорит г. Прудон, признаются такими эволюциями, которые протекают в мистическом тумане абсолютной идеи. Попробуйте сорвать покров с его мистической фразеологии, и вы увидите, что г. Прудон описывает нам только распорядок, в котором экономические категории располагаются в его голове. Мне не понадобится много усилий, чтобы Вам доказать, что это распорядок весьма беспорядочной головы.

Г-н Прудон начинает свою книгу диссертацией о *стоймости* — своем излюбленном коньке [son dada]. На этот раз я не буду останавливаться на разборе этой диссертации.

Ряд экономических эволюций вечного разума открывается *разделением труда*. Для г. Прудона разделение труда — совсем простая вещь. Но разве кастовый строй не был известным видом разделения труда? Разве цеховой строй не был другим видом разделения труда? И разве разделение труда в мануфактурный период, который начинается в середине XVII века и заканчивается в Англии в конце XVIII века, не отличалось радикально от разделения труда при крупной индустрии, индустрии новейшей?



Г-н Прудон так далек от истины, что пренебрегает тем, что делают даже самые обыкновенные экономисты. В своих рассуждениях о разделении труда он не испытывает надобности касаться мирового *рынка*. А между тем, разве разделение труда в XIV и XV веках, когда еще не было колоний, когда Америка еще не существовала для Европы, когда с восточной Азией сносились лишь через посредство Константинополя, не должно было решительно во всех отношениях отличаться от разделения труда в XVII веке, когда уже были значительно развитые колонии?

Но и это еще не все. Разве вся внутренняя организация народов, все их международные отношения являются чем-либо иным, как не выражением известного вида разделения труда? И не должны ли они изменяться вместе с изменением разделения труда?

Г-н Прудон так мало понял вопрос о разделении труда, что он даже не упоминает об отделении города от деревни, — отделении, которое в Германии, например, произошло с IX по XII век. И так как г. Прудон не знает ни происхождения этого отделения, ни хода его развития, то оно должно ему представляться вечным законом. И на протяжении всей книги он рассуждает так, как будто это создание определенного способа производства сохраняется на вечные времена. Все, что г. Прудон говорит о разделении труда, есть не больше, как резюме, и к тому же весьма поверхностное, весьма неполное резюме того, что до него говорили Адам Смит и тысячи других.

Вторая эволюция — это *машины*. У г. Прудона внутренняя связь между разделением труда и машинами — совсем мистическая. Каждый вид разделения труда имел специфические орудия производства. Например, с середины XVII до середины XVIII века люди не все делали руками. Они обладали инструментами, и инструментами очень сложными, как станки, корабли, рычаги и т. д., и т. д.

Поэтому нет ничего смешнее, чем выводить происхождение машин как следствие разделения труда вообще.

Отмечу еще мимоходом, что г. Прудон, так мало понявший историческое происхождение машин, еще менее понял процесс их развития. Можно сказать, что до 1825 г. — времени первого всеобщего кризиса — нужды потребления вообще возрастали быстрее, нежели производство, и что развитие машин было вынужденным следствием нужд рынка. После 1825 г. изобретение и применение машин обуславливается лишь войною между хозяевами и рабочими. Это,

впрочем, верно только по отношению к одной Англии. Что касается европейских народов, то их вынуждала применять машины конкуренция англичан как на их собственных рынках, так и на мировом рынке. Наконец, в Северной Америке введение машин вызывалось и конкуренцией других народов и недостатком рабочих рук, т. е. несоответствием между количеством населения и промышленными потребностями Северной Америки. Из этих фактов Вы можете заключить, какую мудрую пронизательность обнаруживает г. Прудон, когда он закликает тень конкуренции, которую он считает третьей эволюцией, антитезисом машин!

Да и вообще, ведь это же поистине нелепость — возводить *машины* в экономическую категорию наряду с разделением труда, конкуренцией, кредитом и т. д.

Машина столь же мало является экономической категорией, как и бык, который тащит плуг. Современное *применение* машин есть одно из отношений нашего современного экономического строя, но способ эксплуатации машин есть нечто совершенно отличное от самих машин. Порох остается тем же порохом, употребляется ли он для того, чтобы нанести рану человеку, или для того, чтобы лечить причиненную человеку рану.

Но г. Прудон превосходит самого себя, когда раздувает в своей голове значение конкуренции, монополии, налога или общественного порядка, торгового баланса, кредита, собственности, выстраивая их в том порядке, в каком я их перечислил. Почти все кредитные учреждения уже появились в Англии в начале XVIII века, до изобретения машин. Государственный кредит являлся лишь новым способом повышать налоги и покрывать таким образом новые потребности, вызывавшиеся приходом буржуазного класса к государственному управлению. Наконец, *собственность* образует последнюю категорию в системе г. Прудона. В мире реальном, наоборот, разделение труда и все остальные категории г. Прудона суть лишь общественные отношения, образующие в совокупности то, что в настоящее время называется *собственностью*; вне этих отношений буржуазная собственность является только метафизической, или юридической, иллюзией. Собственность другой эпохи, феодальная собственность, развивается среди совсем других общественных отношений. Г-н Прудон, выставляя собственность как самостоятельное отношение, совершает нечто худшее, чем простую методологическую ошибку; он ясно показывает, что не уяснил себе связи, объединяющей все формы

буржуазного производства, что не понял исторического и преходящего характера форм производства в определенную эпоху. Г-н Прудон, не видящий в наших общественных учреждениях продукта истории, не понимающий ни их происхождения, ни процесса их развития, может подвергать их только догматической критике.

Поэтому-то г. Прудон и вынужден прибегнуть к *фикции*, чтобы объяснить их развитие. Он воображает, что разделение труда, кредит, машины и т. д. были изобретены к услугам его навязчивой идеи, идеи равенства. Его объяснение поистине восхитительно-наивно. Эти вещи изобретены были для равенства, но, к сожалению, они повернулись против равенства. Все его рассуждение сводится к этому. Другими словами, он строит совершенно произвольное предположение, и, так как реальное развитие и его фикция противоречат друг другу на каждом шагу, он из этого заключает, что существует противоречие. Но при этом он скрывает, что противоречие существует лишь между его навязчивыми идеями и реальным движением.

Таким образом, г. Прудон, главным образом вследствие недостаточности своих исторических познаний, не понял, что люди, развивая свои производительные способности, т. е. живя, развивают между собою известные отношения и что формы этих отношений необходимо изменяются вместе с изменением и ростом этих производительных способностей. Он не заметил, что *экономические категории* суть лишь *абстракции* этих реальных отношений, что они лишь постольку являются истинными, поскольку сами эти отношения продолжают существовать. Таким образом, он впадает в ошибку буржуазных экономистов, которые считают эти экономические категории вечными законами, а не законами историческими, каковые остаются законами лишь для известной стадии исторического развития, для определенной стадии развития производительных сил. Таким же образом, вместо того чтобы рассматривать эти политико-экономические категории как абстракции реальных, преходящих исторических общественных отношений, г. Прудон, переворачивая в своем мистическом воображении все построение в обратную сторону, видит в реальных отношениях лишь воплощение этих абстракций. И сами эти абстракции являются формулами, дремавшими в лоне боготца с начала сотворения мира.

Но тут наш добрейший г. Прудон впадает в великий интеллектуальный транс. Если все эти экономические катего-

рии суть эманации сердца божия, если они — скрытая и вечная жизнь людей, то каким образом получается, во-первых, то, что существует развитие, и, во-вторых, то, что г. Прудон не консерватор? И он объясняет эти явные противоречия целой системой антагонизмов.

Для выяснения этой системы антагонизмов приведем пример.

*Монополия* — вещь хорошая, ибо это экономическая категория, следовательно — эманация бога. Конкуренция — вещь хорошая, ибо это также экономическая категория. Но что нехорошо — это реальность монополии и реальность конкуренции. Что еще хуже — это что монополия и конкуренция взаимно друг друга пожирают. Как же нужно тут поступить? Так как обе эти вечные мысли бога друг другу противоречат, г. Прудону представляется очевидным, что у бога имеется также и синтез этих двух мыслей, синтез, в котором зло монополии уравнивается конкуренцией — и обратно. Борьба между обеими идеями приведет к тому, что они будут проявлять только свои хорошие стороны. Поэтому нужно вырвать у бога его скрытую мысль, затем применить ее в жизни — и все пойдет по-хорошему; нужно путем откровения выявить синтетическую формулу, скрытую в ночной тьме безличного разума человечества. И г. Прудон ни одной минуты не колеблется стать прорицателем.

Но обратите на минуту свой взор на реальную жизнь. В современной экономической жизни вы находите не только конкуренцию и монополию, но и их синтез, который представляет собой не *формулу*, а *движение*. Монополия порождает конкуренцию, конкуренция порождает монополию. Однако это уравнение не только не устраняет трудности современного положения, как воображают буржуазные экономисты, но создает положение более трудное и более запутанное. Так, изменяя базис, на котором строятся современные экономические отношения, уничтожая современный *способ* производства, вы уничтожаете не только конкуренцию, монополию и их антагонизм, но также и их единство, их синтез — движение, которое действительно уравнивает конкуренцию и монополию.

Теперь я Вам приведу пример диалектики г. Прудона.

*Свобода и рабство* образуют антагонизм. Мне нет надобности говорить ни о хороших, ни о дурных сторонах свободы. Что касается рабства, то мне не нужно говорить о его дурных сторонах. Единственная вещь, которую надлежит

объяснить, это — хорошая сторона рабства. Речь идет не о косвенном рабстве, рабстве пролетария; речь идет о рабстве прямом, рабстве чернокожих в Суринаме, Бразилии, в южных областях Северной Америки.

Прямое рабство является основой современного нашего индустриализма в такой же мере, как машины, кредит и т. д. Без рабства — нет хлопка, без хлопка — нет современной индустрии. Рабство придало ценность колониям, колонии вызвали мировую торговлю, а мировая торговля является необходимым условием крупной машинной индустрии. Поэтому до установления торговли неграми колонии давали Старому Свету весьма мало продуктов и оказывали очень слабое влияние на общее положение мира. Таким образом, рабство является чрезвычайно важной экономической категорией. Без рабства Северная Америка, самая прогрессивная страна, превратилась бы в страну патриархальную. Вычеркните только Северную Америку из карты народов — и вы получите анархию, полное падение современной торговли и современной цивилизации. А уничтожить рабство значило бы вычеркнуть Америку из карты народов. И так как рабство есть экономическая категория, то оно именно поэтому встречается с сотворения мира у всех народов. Современные народы сумели лишь замаскировать рабство у себя самих и открыто импортировать его в Новый Свет. Что же предпримет наш добрейший г. Прудон после этих размышлений о рабстве? Да он станет искать синтез свободы и рабства, подлинную золотую середину, иначе говоря — равновесие между рабством и свободой.

Г-н Прудон очень хорошо понял, что люди производят сукно, холст, шелковые материи. Велика, подумаешь, заслуга — понять так мало! Но чего г. Прудон не понял — это что люди, в меру своих способностей, создают также *общественные отношения*, в которых они производят сукно и холст. Еще меньше г. Прудон понял то, что люди, которые создают общественные отношения в соответствии с их материальной производительностью, создают также *идеи, категории*, т. е. абстрактные, идеальные выражения этих самых общественных отношений. Таким образом, категории в такой же малой степени вечны, как и отношения, ими выражаемые. Они являются продуктами историческими и преходящими. Для г. Прудона, наоборот, первопричиной являются абстракции, категории. По его мнению, именно они, а не люди творят историю. *Абстракция, категория, взятая как таковая*, т. е. отдельно от людей и их материальной деятельности,

конечно, бессмертна, неизменна, бесстрашна; она — лишь существо чистого разума, что означает просто-напросто, что абстракция, взятая как таковая, абстрактна. Великолепная *тавтология!*

Экономические отношения, рассматриваемые в форме категорий, являются для г. Прудона также вечными формулами, не имеющими ни начала, ни развития.

Скажем другими словами: г. Прудон не утверждает прямо, что *буржуазная жизнь* представляется ему *вечной истиной*, но он это говорит косвенно, обожествляя категории, выражающие буржуазные отношения в форме мысли. Он принимает продукты буржуазного общества, как только они встают перед ним в виде категорий, в виде мысли, за существа спонтанейные, одаренные самостоятельной жизнью, вечные. Он, следовательно, не поднимается выше буржуазного кругозора. И так как он оперирует буржуазными идеями, предполагая их вечно истинными, то ищет синтеза этих идей, их равновесия — и не замечает, что их современный способ уравнивать друг друга есть единственно возможный способ.

В действительности он поступает точно так же, как поступают все добрые буржуа. Все они говорят, что конкуренция, монополия и т. д. в принципе, т. е. взятые как абстрактные идеи, представляют собою единственную основу жизни, но что на практике они оставляют желать лучшего. Все они хотят конкуренции без губительных последствий конкуренции. Все они желают невозможного, т. е. условий буржуазной жизни без неизбежных последствий этих условий. Все они одинаково не понимают, что буржуазная форма производства есть форма историческая и переходящая в такой же мере, как форма феодальная. Эта ошибка проистекает из того, что в их глазах человек-буржуа представляет собою единственную возможную основу всякого общества, из того, что они не представляют себе такого строя общества, при котором человек перестал бы быть буржуа.

Поэтому г. Прудон является по необходимости *доктринером*. Историческое движение, потрясающее современный мир, разрешается для него в проблеме открытия справедливого равновесия, синтеза двух буржуазных идей. Путем тонких приемов и хитростей ловкий малый вскрывает скрытую мысль бога, единство двух обособленных идей, являющихся обособленными только потому, что г. Прудон обособил их от практической жизни, от современного производства, которое представляет собою комбинацию реальностей, выражаемых этими идеями. На место великого исторического

движения, зарождающегося на почве конфликта между уже приобретенными производительными силами людей и их общественными отношениями, которые не соответствуют более этим производительным силам; на место ужасающих битв, которые готовятся между различными классами каждой нации и между различными нациями; на место практического и насильственного действия масс, которое одно лишь в состоянии будет разрешать эти коллизии; на место этого обширного, длительного и сложного движения г. Прудон ставит ребяческое [casadauphin] движение своей собственной головы. И таким-то образом оказывается, что ученые, люди, способные похитить у бога его интимную мысль, творят историю. А черни народной остается лишь проводить в жизнь их откровения. Вы понимаете теперь, почему г. Прудон такой решительный противник всякого политического движения. Разрешение современных проблем заключается для него не в общественной деятельности, а в диалектических круговращениях его собственной головы. Именно потому, что для него категории являются движущими силами, нет надобности изменять практическую жизнь, чтобы изменить категории. Совсем наоборот. Нужно изменить категории — и следствием этого явится изменение реального общества.

В своем желании примирить противоречия г. Прудон даже не задается вопросом, не следует ли уничтожить самую основу этих противоречий. Он во всем напоминает того политического доктринера, который требует короля, палаты депутатов и палаты лордов как интегральных частей общественной жизни, как вечных категорий. Он ищет только новую формулу для создания равновесия между этими органами власти (тогда как равновесие между ними заключается именно в современном движении, когда каждый из этих органов то является победителем, то превращается в поработанного). Точно таким же образом и в XVIII веке множество посредственных голов занято было поисками истинной формулы для создания равновесия между общественными сословиями, дворянством, королем, парламентами и т. д., а на следующий день не оказалось уже ни короля, ни парламентов, ни дворянства. Действительным равновесием между этими антагонизмами было ниспровержение всех общественных отношений, служивших основанием для этих порождений феодализма и для антагонизма между ними.

Так как г. Прудон ставит, с одной стороны, вечные идеи, категории чистого разума, а с другой — людей и их практи-

ческую жизнь, которая, как он утверждает, является применением этих категорий, то вы с самого начала наталкиваетесь у него на *дуализм* между жизнью и идеями, между душой и телом, — дуализм, который затем выплывает у него в разных формах. Вы видите теперь, что этот антагонизм есть лишь неспособность г. Прудона понять земное происхождение и земную историю категорий, им обожествляемых.

Мое письмо слишком уж растянулось, и я не могу еще останавливаться на смехотворных нападках г. Прудона на коммунизм. Вы согласитесь со мною пока, что человек, который не понял современного общественного строя, должен еще меньше понимать движение, стремящееся к ниспровержению этого строя, как и литературное выражение этого революционного движения.

*Единственный пункт*, в котором я совершенно согласен с г. Прудонем, это его отвращение к социалистической сентиментальности. Еще раньше него я вызвал много неприязни к себе тем, что высмеивал социализм овечий, сентиментальный, утопический. Но не тешит ли себя г. Прудон странными иллюзиями, когда противопоставляет свою сентиментальность мелкого буржуа, — я хочу сказать: свои декламации о семье, супружеской любви и всяких подобных банальностях, — социалистическому сентиментализму, который у Фурье, например, гораздо более глубок, чем претенциозные плоскости нашего доброго Прудона? Сам он настолько чувствует ничтожество своих аргументов, свою полную неспособность говорить об этих вещах, что, не помня себя, впадает в бешенство, предается восклицаниям, *iraе hominis probi* [гневу благородного человека], беснуется, бранится, обвиняет, вопиет о позоре, о чуме, колотит себя в грудь и бахвалится перед богом и людьми, что неповинен в сих социалистических гнусностях! Он не борется как критик с социалистической сентиментальностью или с тем, что он считает сентиментальностью. Точно святой, точно папа, он отлучает бедных грешников и воспевает славу мелкой буржуазии и ее жалких любовных и патриархальных иллюзий домашнего очага. И отнюдь не случайно. Г-н Прудон с головы до ног философ и экономист мелкой буржуазии. *Мелкий буржуа* в развитом обществе, в силу самого своего положения, становится, с одной стороны — социалистом, с другой — экономистом, другими словами — он ослеплен великолепием крупной буржуазии и симпатизирует страданиям народа. Он в одно и то же время и буржуа и народ. В глубине души он чванится тем, что беспристрастен, что нашел истинное



равновесие, которое имеет претензию отличаться от золотой середины. Такой мелкий буржуа обожествляет *противоречие*, ибо в противоречии вся его сущность. Весь он—живое, действующее общественное противоречие. Он обязан обосновывать теорией то, чем он является на практике. И г. Прудону принадлежит заслуга быть научным истолкователем французской мелкой буржуазии, что является действительной заслугой, ибо мелкая буржуазия будет составной частью всех подготовляющихся социальных революций.

Я хотел бы иметь возможность отправить Вам вместе с этим письмом свою книгу о политической экономии, но до сих пор мне не удалось издать эту работу и критику немецких философов и социалистов, о которых я Вам рассказывал в Брюсселе. Вы никогда не сможете себе представить, на какие препятствия наталкивается в Германии подобное издание, во-первых, со стороны полиции, во-вторых, со стороны издателей, которые сами являются заинтересованными представителями тех тенденций, на которые я нападаю. А что касается нашей собственной партии, то она не только бедна, но значительная часть германской коммунистической партии озлоблена на меня за то, что я борюсь с ее утопиями и декламациями.

Ваш *Карл Маркс*.

P. S. Вы, пожалуй, спросите меня, почему я Вам пишу на плохом французском языке, вместо того чтобы писать на хорошем немецком. Это потому, что я имею дело с французским автором.

Премного меня обяжете, не откладывая слишком долго своего ответа, дабы я знал, поняли ли Вы меня под этой оболочкой варварского французского языка.

ПРУДОН<sup>1</sup>

*Париж.* Вчера мы писали о монтаньярах и социалистах, о кандидатуре Ледрю-Роллена и кандидатуре Распайля, о «Réforme» и о «Peuple» гражданина Прудона. Мы обещали вернуться к Прудону.

Кто такой гражданин Прудон?

Гражданин Прудон — бургундский крестьянин, который переменял много профессий и занимался изучением различных наук. Впервые он привлек к себе общественное внимание опубликованным в 1842 г. памфлетом: «Что такое собственность?» Ответ гласил: «Собственность — это кража».

Этот неожиданный выпад произвел на французов ошеломляющее впечатление. Правительство Луи-Филиппа, суровый Гизо, которому чуждо было чувство юмора, оказалось достаточно ограниченным, чтобы посадить Прудона на скамью подсудимых. Но напрасно. Можно было рассчитывать, что за такой пикантный парадокс он получит оправдание от любого французского суда. Так оно и случилось. Правительство осрамилось, и Прудон стал знаменитым человеком.

Содержание же самой книги полностью соответствует вышеприведенной оценке. Каждая глава представляет собою странный парадокс в такой форме, какой французам еще не приходилось встречать.

В остальном книга состоит частично из морально-юридических и частично морально-экономических рассуждений. Каждое из них имеет целью доказать, что собственность

<sup>1</sup> Статья Ф. Энгельса «Прудон» была написана для «Новой Рейнской Газеты», вероятно, в начале декабря 1848 г. Работа над этой статьей была вызвана, по видимому, просьбой Маркса в письме к Энгельсу от 29 ноября 1848 г.: «Напиши подробно о Прудоне... Разбирая Прудона, не забудь меня, так как наши статьи попадают теперь в целый ряд французских газет» (см. *К. Маркс и Ф. Энгельс*, Соч., т. XXI, стр. 104). Статья впервые опубликована на русском языке в «Большевике» № 14 за 1940 г. — *Ред.*

основана на противоречии. Что касается юридических доводов, то с ними можно согласиться, поскольку нет ничего более легкого, чем доказать, что вся юриспруденция вообще основана на сплошных противоречиях. Что же касается экономических рассуждений, то они содержат очень мало нового, а то новое, что в них есть, основано на ложных расчетах. Тройное правило арифметики всюду позорно нарушается.

В общем же французы в этой книге не разобрались. Юристы находили ее слишком экономической, экономисты — слишком юридической, и те и другие — слишком морализирующей. *Après tout*, заявили они наконец, *c'est un ouvrage remarquable* [Все же это — замечательное произведение].

Но Прудон стремился к еще большему триумфу. После различных мелких статей, прошедших незамеченными, в 1846 г. вышла наконец его «*Philosophie de la Misère*» [«Философия нищеты»] в двух огромных томах. В этом произведении, которое должно было увековечить его славу, Прудон, преступно исказив философский метод Гегеля, применил этот метод для обоснования какой-то странной и совершенно неправильной системы политической экономии и попытался путем всевозможных трансцендентальных фокусов обосновать новую социалистическую систему свободной рабочей ассоциации. Оказалось, что эта якобы новая система была уже давно известна в Англии под названием *Equitable Labour Exchange Bazars* [справедливых рабочих меновых базаров] или *Offices* [контор] и десять лет тому назад в десяти различных городах десять раз обанкротилась.

Это тяжеловесное, объемистое произведение с претензией на ученость, в котором не только до сих пор существовавшим экономистам, но и всем до сих пор существовавшим социалистам были брошены самые грубые упреки, не произвело на легкомысленных французов абсолютно никакого впечатления. Такой манеры изложения и рассуждения им еще не приходилось встречать, и она гораздо менее соответствовала их вкусу, чем курьезные парадоксы из прежнего произведения Прудона. Подобных парадоксов и здесь нашлось немало (так, например, Прудон совершенно серьезно объявил себя «личным врагом Иеговы»), но они были словно погребены под спудом мнимо-диалектических нагромождений. Французы опять заявили: *c'est un ouvrage remarquable* [это — замечательное произведение] и отложили его в сторону. В Германии оно, конечно, было принято с большим благоговением.

Маркс в то время выпустил свой столь же остроумный, сколь и основательный труд против Прудона («Misère de la Philosophie. Réponse à la philosophie de la misère de M. Proudhon». Par Karl Marx, Bruxelles et Paris 1847 [Карл Маркс, «Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г. Прудона»]),—труд, который по образу мыслей и языку в тысячу раз более соответствует французскому стилю, нежели претенциозная нелепость Прудона.

Что касается критики существующих общественных отношений, содержащейся в обоих произведениях Прудона, то по прочтении таковых можно со спокойной совестью сказать, что она сводится к нулю.

Проекты же Прудона, касающиеся социальной реформы, как уже было указано, отличаются лишь тем преимуществом, что они уже много лет тому назад путем многочисленных банкротств блестяще провалились в Англии.

Таков был Прудон до революции. В то время как он еще занимался попытками издания ежедневной газеты «Le Représentant du Peuple» без капитала, но с помощью расчетов, непревзойденных по нарушению тройного правила, парижские рабочие восстали, прогнали Луи-Филиппа и основали республику.

Благодаря республике Прудон в первую очередь стал «гражданином»; благодаря голосованию парижских рабочих, веривших в его честное имя социалиста, он стал затем народным представителем.

Таким образом, революция выбросила гражданина Прудона из теории в практику, из его берлоги на форум. Как вел себя этот упрямый и надменный самоучка, который с одинаковым презрением относился ко всем существовавшим до него авторитетам, юристам, академикам, экономистам и социалистам, который объявил всю предшествующую историю вздорной болтовней, а себя самого, так сказать, новым Мессией, — как проявил он себя, когда он сам должен был помогать творить историю?

Мы должны сказать к его чести, что он начал с того, что занял место на крайней левой среди тех самых социалистов и голосовал вместе с теми самыми социалистами, которых он так глубоко презирал и на которых так резко нападал, обзывая невеждами и высокомерными глупцами.

Говорят, что он на партийных собраниях Горы с новым пылом возобновил свои прежние жестокие нападки на прежних противников, что он их всех без исключения объявил невеждами и фразерами, которые не знают даже азбучных истин того, о чем говорят.

Мы охотно верим этому. Мы даже охотно верим, что изложенные с сухой страстностью и самонадеянностью доктрина экономические парадоксы Прудона привели в немалое замешательство господ монтаньяров. Очень немногие из них являются экономистами-теоретиками и в большей или меньшей степени полагаются на маленького Луи Блана; а маленький Луи Блан, хотя он и гораздо более серьезный мыслитель, нежели непогрешимый Прудон, все же слишком интуитивная натура, чтобы иметь возможность разобраться в претенциозных псевдо-научных трудах по экономике, причудливой трансцендентальности и мнимой математической логике Прудона. К тому же он вскоре вынужден был бежать, и его на поле экономики беспомощное стадо, оставленное на произвол судьбы, попало в беспощадные зубы волка Прудона.

Не следует повторять, что Прудон, несмотря на все эти триумфы, все же остается исключительно слабым экономистом. Однако большинство французских социалистов недостаточно подготовлено, чтобы вскрыть его слабые стороны.

Самого большого триумфа, который был им когда-либо пережит, Прудон добился на трибуне Национального собрания. Не помню сейчас, по какому поводу он взял слово и вызвал озлобление буржуазии в собрании тем, что в течение полутора часов изливался в непрерывном потоке подлинно прудоновских парадоксов, один скандальнее другого, причем каждый был рассчитан на то, чтобы самым грубым образом оскорбить самые святые и глубокие чувства слушателей. И все это преподносилось с его сухим профессорским равнодушием, на бесстрашном, профессорском, бургундском диалекте, самым холодным, невозмутимейшим тоном в мире. Эффект — виттова пляска взбешенной буржуазии — был действительно недурен.

Но это был и апогей общественной деятельности Прудона. В дальнейшем он продолжал пропагандировать свою теорию, которая должна была осчастливить мир, в газете «Représentant du Peuple», созданной с большим трудом и, после тяжелых разочарований в тройном правительстве, превращенной вскоре просто в «Peuple», а также в рабочих клубах. Он пользовался известным успехом. «On ne le comprend pas, — говорили рабочие, — mais c'est un homme remarquable» [«Его не понять, но это замечательный человек»].

## О ПРУДОНЕ

(Письмо К. Маркса Швейцеру)

Лондон, 24 января 1865.

*Милостивый государь!*

Я получил вчера письмо, в котором Вы требуете от меня подробной оценки Прудона. Недостаток времени не позволяет мне удовлетворить Ваше желание. К тому же у меня нет под рукой ни одного из его произведений. Однако в доказательство своей готовности пойти Вам навстречу я наскоро набросал краткий очерк. Вы его можете потом пополнить, сделать к нему добавления, сократить его, — словом, сделать с ним, что вам заблагорассудится <sup>1</sup>.

Первых опытов Прудона я уже не помню. Его ученическая работа о «*Langue universelle*» [«*Всемирном языке*»] показывает, с какой бесцеремонностью он осмеливался братья за вопросы, для решения которых ему недоставало самых элементарных знаний.

Его первое произведение «*Qu'est-ce que la Propriété?*» [«*Что такое собственность?*»] является безусловно самым лучшим его произведением. Оно составило эпоху, если не новизной своего содержания, то хотя бы новой и дерзкой манерой говорить старое. В произведениях известных ему французских социалистов и коммунистов «*собственность*», разумеется, не только была подвергнута разносторонней критике, но и утопически «*упразднена*». Этой книгой Прудон стал приблизительно в такое же отношение к Сен-Симону и Фурье, в каком стоял Фейербах к Гегелю. По сравнению с Гегелем Фейербах крайне беден. Однако после Гегеля он сделал эпоху, так как выдвинул на первый план некоторые неприятные христианскому сознанию и важные для

<sup>1</sup> Мы сочли за лучшее поместить письмо без всяких изменений.  
[Примечание редакции «*Social-Demokrat*».]

успехов критики пункты, которые Гегель оставил в мистическом *clair-obscur* [полумраке].

Если можно так выразиться, в этом произведении Прудона преобладает еще сильная мускулатура стиля. И стиль этот я считаю главным его достоинством. Видно, что даже там, где Прудон только воспроизводит старое, для него это самостоятельное открытие; то, что он говорит, для него самого было ново и расценивается им как новое. Вызывающая дерзость, с которой он нападает на «святая святых» политической экономии, остроумные парадоксы, с помощью которых он высмеивает пошлый буржуазный рассудок, уничтожающая критика, едкая ирония, проглядывающее тут и там глубокое и искреннее чувство возмущения мерзостью существующего, революционная убежденность — всеми этими качествами книга «*Что такое собственность?*» электризовала читателей и при первом своем появлении в свет произвела сильное впечатление. В строго научной истории политической экономии книга эта едва ли заслуживала бы упоминания. Но подобного рода сенсационные произведения играют свою роль в науке так же, как и в изящной литературе. Возьмите, например, книгу Мальтуса о «*Народонаселении*». В первом издании это было не что иное, как «*сенсационный памфлет*» и вдобавок — *плагиат* с начала до конца. И все-таки какое сильное впечатление произвел этот *пасквиль на человеческий род!*

Будь книга Прудона у меня под рукой, легко было бы показать на нескольких примерах его *первоначальную манеру* писать. В тех параграфах, которые он сам считал наиболее важными, он подражает в трактовке *антиномий Канта*, — это единственный немецкий философ, с которым он был тогда знаком по переводам, — и создается определенное впечатление, что для него, как и для Канта, разрешение антиномий является чем-то таким, что лежит «*по ту сторону*» человеческого ума, т. е. что для его собственного ума остается неясным.

Несмотря на всю кажущуюся архиреволюционность, уже в «*Что такое собственность?*» наталкиваешься на противоречие: с одной стороны, Прудон критикует общество сквозь призму взглядов французского парцелльного крестьянина (позже — *мелкого буржуа*), а с другой стороны, прилагает к нему масштаб, заимствованный им у социалистов.

Уже само заглавие указывало на недостатки книги. Вопрос был до такой степени неправильно поставлен, что на него невозможно было дать правильный ответ. *Античные*

«отношения собственности» были уничтожены феодальными, а феодальные — «буржуазными». Сама история подвергла, таким образом, критике отношения собственности прошлого. То, о чем в сущности шла речь у Прудона, была существующая современная буржуазная собственность. На вопрос: что она такое? — можно было ответить только критическим анализом «политической экономики», обнимающей совокупность этих отношений собственности не в их юридическом выражении как волевых отношений, а в их реальной форме, т. е. как производственных отношений. Но так как Прудон связывал всю совокупность этих экономических отношений с общим юридическим представлением «собственность», *«la propriété»*, то он и не мог выйти за пределы того ответа, который дал Бриссо еще до 1789 г. в тех же словах и в подобном же сочинении: *«La propriété c'est le vol»* [«Собственность — это кража»].

В лучшем случае из этого вытекает только то, что буржуазно-юридические представления о «краже» применимы также к «честному» доходу самого буржуа. С другой стороны, ввиду того, что «кража», как насильственное нарушение собственности, предполагает собственность, Прудон запутался во всевозможных, для него самого неясных, мудрствованиях относительно истинной буржуазной собственности.

Во время моего пребывания в Париже в 1844 г. у меня завязались личные отношения с Прудоном. Я потому упоминаю здесь об этом, что и на мне до известной степени лежит доля вины в его «*sophistication*», как называют англичане фальсификацию товаров. Во время долгих споров, часто продолжавшихся всю ночь до утра, я заразил его, к большому вреду для него, гегельянством, которого он, однако, при незнании немецкого языка, не мог как следует изучить. То, что я начал, продолжал после моей высылки из Парижа г. Карл Грюн. В качестве преподавателя немецкой философии он имел предо мною еще то преимущество, что сам ничего в ней не понимал.

Незадолго до появления своего второго крупного произведения — «Философии нищеты и т. д.» Прудон сам известил меня о нем в очень подробном письме, в котором, между прочим, имеются следующие слова: *«J'attends votre férule critique»* [«Жду вашей строгой критики»]. Действительно, эта критика вскоре обрушилась на него (в моей книге «Нищета философии и т. д.», Париж 1847) в такой форме, что навсегда положила конец нашей дружбе.



Из того, что здесь сказано, вы видите, что в книге Прудона «*Philosophie de la Misère ou système des contradictions économiques*» [*Философия нищеты, или система экономических противоречий*] в сущности впервые дан был им ответ на вопрос: «*Что такое собственность?*». В самом деле, только после появления этого сочинения Прудон начал свои экономические занятия; он открыл, что на поставленный им вопрос можно ответить не *бранью*, а лишь *анализом* современной «*политической экономии*». В то же время он сделал попытку диалектически изложить систему экономических категорий. Вместо неразрешимых «*антиномий*» *Канта* в качестве средства развития должно было выступить *гегелевское* «*противоречие*».

Критику его двухтомного, пухлого произведения вы найдете в моем ответном сочинении. Я показал там, между прочим, как мало проник Прудон в тайну научной диалектики и до какой степени, с другой стороны, он разделяет иллюзии спекулятивной философии, когда, вместо того чтобы видеть в *экономических категориях теоретические выражения исторических, соответствующих определенной ступени развития материального производства, производственных отношений*, он нелепо превращает их в искони существующие *вечные идеи*, и как таким окольным путем он снова возвращается к точке зрения буржуазной экономии <sup>1</sup>.

Далее, я еще показываю, сколь недостаточным, порой просто ученическим, является его знакомство с «*политической экономией*», критику которой он предпринял, и как вместе с утопистами он гоняется за так называемой «*наукой*», с помощью которой можно а priori изобрести формулу для «*решения социального вопроса*», вместо того чтобы источником науки делать критическое познание исторического движения, движения, которое само создает *материальные условия освобождения*. Особенно же там показано, насколько неясными, ложными и половинчатыми остаются представления Прудона об основе всего — *меново́й стоимости*; более того, он видит в утопическом истолковании теории стоимости

<sup>1</sup> «Говоря, что существующие отношения, — отношения буржуазного производства, — являются *естественными*, экономисты хотят этим сказать, что это именно те отношения, при которых богатство создается и производительные силы развиваются сообразно законам природы. Следовательно, сами эти отношения являются не зависящими от влияния времени *естественными законами*. Это — *вечные законы*, которые должны всегда управлять обществом. Таким образом, до сих пор была история, а теперь ее более нет» (стр. 113 моей работы [стр. 103—104 настоящего издания]).

Рикардо основу новой науки. Свое суждение о его общей точке зрения я резюмирую в следующих словах:

«Каждое экономическое отношение имеет свою хорошую и свою дурную сторону — это единственный пункт, в котором г. Прудон не побивает самого себя. Хорошая сторона выставляется, по его мнению, экономистами; дурная — изобличается социалистами. У экономистов он заимствует понятие о необходимости вечных экономических отношений; у социалистов — ту иллюзию, в силу которой они видят в нищете только нищету (вместо того чтобы видеть в ней революционную разрушительную сторону, которая и ниспровергнет старое общество). Он соглашается и с теми и с другими, причем старается опереться на авторитет науки. Наука же сводится в его представлении к тощим размерам научной формулы; он находится в вечной погоне за формулами. Сообразно с этим г. Прудон льстит себя уверенностью, что он сумел дать критику как политической экономии, так и коммунизма; на самом деле он стоит ниже их обоих. Ниже экономистов, — потому, что он как философ, обладающий магической формулой, считает себя избавленным от необходимости вдаваться в чисто экономические детали; ниже социалистов — потому, что у него не хватает ни мужества, ни проницательности для того, чтобы подняться выше буржуазного кругозора, хотя бы только в области умозрений... Он хочет, как муж науки, витать над буржуа и пролетариями, но является лишь *мелким буржуа*, постоянно колеблющимся между капиталом и трудом, между политической экономией и коммунизмом».

Как ни сурово звучит этот приговор, я и теперь подписываюсь под каждым его словом. При этом, однако, не следует забывать, что, в то время как я объявил книгу Прудона кодексом мелкобуржуазного социализма и теоретически это доказал, экономисты и социалисты предавали Прудона анафеме как ультра-революционера. Вот почему я и позднее никогда не присоединял своего голоса к тем, кто кричал об его «*измене*» революции. Не его вина, если, с самого начала ложно понятый как другими, так и самим собою, он не оправдал необоснованных надежд.

В противоположность [произведению] «*Что такое собственность?*» в «*Философии нищеты*» все недостатки прудоновской манеры изложения очень невыгодно бросаются в глаза. Стилль сплошь и рядом *atroulé* [*напыщен*], как говорят французы. Высокопарная спекулятивная тарбарщина, выдаваемая за немецкую философскую манеру, выступает повсюду, где ему изменяет галльская острота ума. Так и режет ухо

самохвальство, базарно-крикливый, рекламный тон, в особенности чванство мнимой «наукой», бесплодная болтовня о ней. Искренняя теплота, которой проникнута его первая работа, здесь в определенных местах систематически подменяется искусственно подогретой декламацией. К тому же это беспомощное и отвратительное старание самоучки щегольнуть своей ученостью, самоучки, у которого прирожденная гордость оригинальностью и самостоятельностью мышления уже сломлена и который, как выскочка в науке, воображает, что должен чваниться тем, чем он не является и чего у него нет. И вдобавок эта психология мелкого буржуа, который непристойно, грубо, неостроумно, неглубоко и прямо-таки неправильно обрушивается на такого человека, как Кабэ, заслуживающего уважения за ту роль, которую он сыграл в движении французского пролетариата; зато он очень любезен, например с *Дюнуайе* (как-никак «государственный советник»), хотя все значение этого Дюнуайе заключается в комичной серьезности, с какой он на протяжении трех толстых и невыносимо скучных томов проповедует ригоризм, так охарактеризованный Гельвецием: «*On veut que les malheureux soient parfaits*» («От несчастных требуют совершенства»).

Февральская революция произошла для Прудона действительно совсем некстати, ведь он всего лишь за несколько недель до нее неопровержимо доказал, что «эра революций» навсегда миновала. Его выступление в Национальном собрании, хотя оно и обнаружило, как мало понимал он все происходящее, заслуживает всяческой похвалы. После июньского восстания это было актом высокого мужества. Кроме того, его выступление имело тот положительный результат, что г. *Тьер* в произнесенной против предложений Прудона речи, которая потом была издана в виде отдельной брошюры, доказал всей Европе, какой жалкий детский катехизис служил пьедесталом этому духовному столпу французской буржуазии. В сравнении с г. Тьером Прудон и в самом деле вырастал до размеров допотопного колосса.

Изобретение «*Crédit gratuit*» [«дарового кредита»] и основанного на нем «народного банка» (*banque du peuple*) принадлежит к последним экономическим «подвигам» г. Прудона. В моей книге «*К критике политической экономии, вып. 1, Берлин 1859*» (стр. 59—64), доказывается, что теоретическая основа его взглядов имеет своим источником незнание основных элементов буржуазной «политической экономии», именно — отношения *товаров к деньгам*, тогда как

практическая надстройка была простым воспроизведением более старых и значительно лучше разработанных проектов. Что кредит, как это было, например, в Англии в начале XVIII века, а затем снова в начале XIX века, способствовал переходу имущества из рук одного класса в руки другого, что при определенных экономических и политических условиях он может содействовать ускорению освобождения пролетариата, это не подлежит ни малейшему сомнению и разумеется само собою. Но считать *капитал, приносящий проценты, главной формой капитала*, пытаться сделать особое применение кредита, мнимую отмену процента, основой общественного преобразования — это насквозь *мецанская* фантазия. И, действительно, мы видим, что эта фантазия подробно развивалась уже *экономическими идеологами английской мелкой буржуазии XVII века*. Poleмика Прудона с Бастиа (1850) о капитале, приносящем проценты, стоит еще ниже *«Философии нищеты»*. Он доходит до того, что даже Бастиа удается его побить, и комично неистовствует всякий раз, когда противник наносит ему удар.

Несколько лет тому назад Прудон написал на конкурс, объявленный, кажется, лозаннским правительством, сочинение о *«Налогax»*. Здесь исчезают и последние следы гениальности, и остается *petit bourgeois tout pur* [чистокровный мелкий буржуа].

Что касается политических и философских сочинений Прудона, то во всех них обнаруживается тот же самый противоречивый, двойственный характер, что и в экономических работах. К тому же они имеют чисто местное значение — только для Франции. Однако его нападки на религию, церковь и т. д. были большой заслугой в условиях Франции в то время, когда французские социалисты считали уместным видеть в религиозности знак своего превосходства над буржуазным вольтерьянством XVIII века и немецким безбожием XIX века. Если Петр Великий варварством победил русское варварство, то Прудон сделал все от него зависящее, чтобы фразой ниспровергнуть французское фразерство.

Его книгу о *«Coup d'état»* [«Государственном перевороте»] надо рассматривать не просто как плохое произведение, а как прямую подлость, подлость, однако, вполне соответствующую его мелкобуржуазной точке зрения; здесь он кокетничает с Луи Бонапартом и старается сделать его приемлемым для французских рабочих; таково же его последнее произведение против Польши, в котором он в угоду царю обнаруживает цинизм кретина.

*Прудон* часто сравнивали с *Руссо*. Нет ничего ошибочнее такого сравнения. Он скорее похож на *Ник. Ленге*, книга которого «*Théorie des Lois Civiles*» [«Теория гражданских законов»] является, впрочем, гениальным произведением.

*Прудон* по натуре был склонен к диалектике. Но так как он никогда не понимал подлинно научной диалектики, то не пошел дальше софистики. В действительности это было связано с его мелкобуржуазной точкой зрения. Мелкий буржуа, так же как и историк *Раумер*, составлен из «с одной стороны» и «с другой стороны». Таков он в своих экономических интересах, а *потому* и в своей политике, в своих религиозных, научных и художественных воззрениях. Таков он в своей морали, таков он in everything [во всем]. Он — воплощенное противоречие. А если при этом он, подобно *Прудону*, человек остроумный, то быстро привыкает жонглировать своими собственными противоречиями и превращает их, смотря по обстоятельствам, в неожиданные, кричащие, подчас скандальные, подчас блестящие парадоксы. Шарлатанство в науке и политическое приспособленчество неразрывно связаны с такой точкой зрения. У подобных субъектов остается лишь один побудительный мотив — их *тщеславие*; подобно всем тщеславным людям, они заботятся лишь о минутном успехе, о сенсации. При этом неизбежно утрачивается тот простой моральный такт, который всегда предохранял, например, *Руссо* от всякого, хотя бы только кажущегося, компромисса с существующей властью.

Быть может, потомство, характеризуя этот недавний период французской истории, скажет, что *Луи Бонапарт* был его *Наполеоном*, а *Прудон* — его *Руссо-Вольтером*.

А теперь я всецело возлагаю на Вас ответственность за то, что Вы так скоро после смерти этого человека навязали мне роль его посмертного судьи.

Уважающий Вас *Карл Маркс*.

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

### А

- АНДЕРСОН** (Anderson) *Адам* (1692—1765) — шотландский экономист, противник меркантилизма и промышленных монополий — 32.
- АННЕНКОВ** *Павел Васильевич* (1812—1887) — русский журналист, литературный критик и мемуарист, умеренный либерал; в 40-х годах жил за границей; был знаком и переписывался с Марксом — 150.
- АРКРАЙТ** (Arkwright) *Ричард* (1732—1792) — крупный текстильный фабрикант; в 1768 г. объявил себя изобретателем прядильной машины; впоследствии был лишен судом патента на нее. «Величайший вор чужих изобретений и самый низкий субъект» (*Маркс*) — 120.
- АТКИНСОН** (Atkinson) *Вильям* — английский экономист, противник классической школы политической экономии, сторонник протекционизма — 57.

### Б

- БАСТИА** (Bastiat) *Фредерик* (1801—1850) — французский буржуазный экономист, «самый пошлый, а потому и самый удачливый представитель вульгарно-экономической апологетики» (*Маркс*) — 173.
- БЛАН** (Blanc) *Луи* (1811—1882) — французский мелкобуржуазный социалист, историк; своей соглашательской политикой способствовал поражению революции 1848 г.; в 1871 г. — член Национального собрания, расправившегося с коммунарами — 166.
- БЛАНКИ** (Blanqui) *Жером-Адольф* (1798—1854) — французский экономист, последователь вульгарного буржуазного экономиста Сэя, профессор политической экономии в Париже — 43.
- БОДО** (Baudeau) *Никола* (1730—1792) — французский аббат; экономист, физиократ; написал «Объяснение экономической таблицы Кенэ» — 89.
- БОНАПАРТ ЛУИ** — см. Наполеон III.
- БРИССО** (Brissot) *Жан-Пьер* (1754—1793) — вождь жирондистской партии во время буржуазной революции во Франции, член Конвента — 169.
- БРЭЙ** (Brau) *Джон-Фрэнсис* (1809—1895) — английский коммунист-утопист, последователь Оуэна — 7, 13, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67.

- БУАГИЛЬБЕР** (Boisguillebert) *Пьер* (1646—1714) — французский экономист, предшественник физиократов, родоначальник классической политической экономии во Франции — 57, 76.
- БЭББЕДЖ** (Babbage) *Чарльз* (1792—1871) — профессор математики в Кембридже; занимался также экономическими вопросами, главным образом, проблемами разделения труда в мануфактуре и применения машин — 118.

## В

- ВАГНЕР** (Wagner) *Адольф* (1835—1917) — немецкий буржуазный экономист, представитель так называемого «государственного социализма», враг марксизма; редактировал литературное наследие Родбертуса — 11.
- ВЕЙТЛИНГ** (Weitling) *Вильгельм* (1808—1871) — немецкий коммунист-утопист — 6.
- ВИЛЬГЕЛЬМ** (William) *Оранский* (1650—1702) — король Англии (1689—1702)—131.
- ВИЛЬНЕВ-БАРЖМОН** (Villeneuve-Bargemon) *Людовик-Франсуа, де* (1784—1850) — французский экономист; критиковал английскую классическую политическую экономию с позиций католической церкви — 103.
- ВОЛЬТЕР** (Voltaire) *Франсуа-Мари* (1694—1778) — французский философ, историк и писатель, яркий представитель старшего поколения французских просветителей XVIII в.; имел огромное влияние на общественную мысль предреволюционной Франции — 72, 173, 174.

## Г

- ГАРВЕЙ** (Harvey) *Вильям* (1578—1657) — английский врач, положивший начало современной физиологии. Выдающаяся заслуга Гарвея — описание кровообращения в человеческом организме — 128.
- ГЕГЕЛЬ** (Hegel) *Георг-Фридрих-Вильгельм* (1770—1831) — великий немецкий философ-диалектик, основатель системы объективного, абсолютного идеализма — 88, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 151, 153, 164, 167, 168, 169.
- ГЕЛЬВЕЦИЙ** (Gelvetius) *Клод-Адриен* (1715—1771) — один из ярких представителей французского материализма XVIII в. — 172.
- ГЕСКИССОН** (Huskisson) *Вильям* (1770—1830) — английский политический деятель, участвовавший в различных министерствах вигов, сторонник буржуазного принципа свободной торговли — 145.
- ГИЗО** (Guizot) *Франсуа-Пьер-Гильом* (1787—1874) — французский политический деятель, историк; с 1840 г. — министр внутренних дел; проводил реакционную политику — 163.
- ГИЛДИЧ** (Hilditch) *Ричард* — английский экономист — 138.
- ГОДСКИН** (Hodgskin) *Томас* (1787—1869) — английский экономист, мелкобуржуазный критик капитализма — 20.
- ГОПКИНС** (Hopkins) *Томас* — английский экономист начала XIX в. — 7, 20, 59.

- ГРЕЙ** (Grey) *Джон* (1798—1850) — английский экономист, мелкобуржуазный критик капитализма; автор проектов преобразования общества на началах новой организации обмена. «Первый предшественник Прудона и Родбертуса» (*Маркс*) — 11, 13, 17, 20.
- ГРЮН** (Grün) *Карл* (1817—1887) — немецкий публицист, главный представитель «истинного социализма», приверженец Прудона — 169.

## Д

- ДРОЗ** (Droz) *Франсуа-Ксавье-Жозеф* (1773—1851) — французский историк, имеющий работы также и по вопросам философии, морали и экономики — 43.
- ДАЭР** (Daire) *Луи-Франсуа-Эжен* (1798—1847) — издатель избранных сочинений физиократов — 57, 76.
- ДЮНУАЙЕ** (Dunoyer) *Шарль* (1786—1862) — французский экономист, префект департамента Соммы и государственный советник при Луи-Филиппе — 52, 172.

## З

- ЗАПД** (Sand) *Жорж* (1804—1876) — литературный псевдоним известной прогрессивной писательницы Авроры Дюдеван. Приводимая Марксом цитата взята из ее повести «Ян Жижка» — 149.

## К

- КАВЭ** (Cabet) *Этьен* (1788—1856) — один из представителей французского утопического социализма; автор «Путешествия в Икарию» (1840) — 172.
- КАНТ** (Kant) *Иммануил* (1724—1804) — родоначальник классической идеалистической немецкой буржуазной философии; основной чертой его философии является попытка примирить материализм с идеализмом — 113, 168, 170.
- КАРЛ ВЕЛИКИЙ** (742—814) — король франков (768—814) и римский император (800—814) — 72.
- КАРЛ II** (1630—1685) — английский король (1660—1685) — 141.
- КЕНЭ** (Quesnay) *Франсуа* (1694—1774) — видный французский экономист, глава школы физиократов; сделал гениальную для своего времени попытку представить весь общественный процесс производства, обращения и распределения как единое целое, показав его в своей «Tableau économique» — 88.
- КОЛЬБЕР** (Colbert) *Жан-Батист* (1619—1683) — министр короля Людовика XIV; проводил в жизнь принципы меркантилизма — 126.
- КОНСТАНСИО** (Constancio) *Франциско-Солано* (1777—1846) — португальский писатель, ученый и дипломат; переводчик произведений Рикардо, Мальгуса и других экономистов на французский язык — 29, 38.
- КУПЕР** (Cooper) *Томас* (1759—1840) — профессор химии и политической экономии университета в Колумбии; в своих экономических работах изложил учение Смита и Рикардо — 78.



## Л

- ЛАССАЛЬ** (Lassalle) *Фердинанд* (1825—1864) — видный деятель немецкого рабочего движения в период 1862—1864 гг.; положил начало реформистскому течению в рабочем движении (лассальянству); находился в связи с реакционным правительством Бисмарка — 43.
- ЛЕДРЮ-РОЛЛЕН** (Ledru-Rollin) *Александр-Огюст* (1807—1874) — французский мелкобуржуазный демократ, член Временного правительства 1848 г. — 163.
- ЛЕМОНТЕЙ** (Lemontey) *Ньер-Эдуард* (1762—1826) — французский писатель, член Законодательного собрания и французской Академии наук; писал по вопросам экономики и истории — 111, 122.
- ЛЕНГЕ** (Linguet) *Симон-Никола-Анри* (1736—1794) — французский писатель-публицист, выступавший «против буржуазно-либеральных идеалов современных ему просветителей, против начинающегося господства буржуазии» (*Маркс*) — 174.
- ЛОДЕРДАЛЬ** (Lauderdale) *Джеймс*, граф (1759—1839) — английский реакционный политик и экономист, критик Адама Смита — 29, 40, 41, 82.
- ЛОУ** (Law) *Джон* (1671—1729) — шотландский финансист и экономист, выдвинувший теорию о возможности безграничного выпуска бумажных денег — 72.
- ЛУИ-ФИЛИПП** (Louis-Philippe) (1773—1850) — французский король (1830—1848) — 163, 165.
- ЛЮДОВИК XIV** (Louis) (1638—1715) — французский король (1643—1715) — 76.
- ЛЮДОВИК XV** (Louis) (1710—1774) — французский король (1715—1774) — 88.

## М

- МАЛЬТУС** (Malthus) *Томас-Роберт* (1766—1834) — английский экономист, апологет капитализма, автор реакционной теории народонаселения, оправдывающей нищету трудящихся масс при капитализме вечными законами природы. «Профессиональный плагиатор» (*Маркс*) — 168.
- МАРКС** (Marx) *Карл* (1818—1883) — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 43, 150, 162, 165, 167, 174.
- МЕНГЕР** (Menger) *Антон* (1841—1906) — австрийский профессор права; в своих произведениях уделял большое внимание истории социалистических теорий — 20.
- МИЛЛЬ** (Mill) *Джеймс* (1773—1836) — английский историк и экономист — 138.
- МИЛЛЬ** (Mill) *Джон-Стюарт* (1806—1873) — английский философ и экономист периода разложения и вульгаризации рикардианской школы — 77.

## Н

- НАПОЛЕОН I** *Бонапарт* (Napoléon Bonaparte) (1769—1821) — французский император (1804—1814 и 1815) — 95, 174.
- НАПОЛЕОН III** (Луи Бонапарт) (1808—1873) — французский император (1852—1870) — 173, 174.

## О

**ОУЭН** (Owen) *Роберт* (1771—1858) — великий английский социалист-утопист — 145.

## П

**ПЕТР ВЕЛИКИЙ** (1672—1725) — русский царь (1682—1725) — 173.  
**ПЕТТИ** (Petty) *Вильям* (1623—1687) — виднейший английский экономист, родоначальник классической политической экономии, основоположник теории трудовой стоимости — 141.  
**ПРУДОН** (Proudhon) *Пьер-Жозеф* (1809—1865) — французский писатель-публицист, идеолог мелкой буржуазии, представитель так называемого «буржуазного социализма» — 5—7, 11, 13, 17, 21, 23—38, 41—56, 58, 59, 65, 67—91, 93—103, 108—115, 117—120, 122—134, 136—145, 150—174.

## Р

**РАУМЕР** (Raumer) *Фридрих* (1781—1873) — немецкий буржуазный историк — 174.  
**РАСПАЙЛЬ** (Raspail) *Франсуа-Венсан* (1794—1878) — французский естествоиспытатель и публицист, член Учредительного собрания 1848 г. — 163.  
**РИКАРДО** (Ricardo) *Давид* (1772—1823) — виднейший английский экономист. «Последний великий представитель английской классической политической экономии» (*Маркс*)—6, 7, 8, 9, 10, 19, 27, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 54, 55, 58, 59, 75, 76, 82, 88, 106, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 171.  
**РОДБЕРТУС** (Rodbertus) *Иоганн-Карл* (1805—1875) — прусский помещик, экономист, теоретик так называемого «государственного социализма» — 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.  
**РОССИ** (Rossi) *Пелегриньо-Луиджи* (1787—1848) — итальянский политический деятель, эмигрировавший во Францию; вульгарный буржуазный экономист, профессор уголовного права и политической экономии — 43, 129.  
**РУССО** (Rousseau) *Жан-Жак* (1712—1778) — выдающийся французский просветитель XVIII в., идеолог революционной мелкобуржуазной демократии — 174.

## С

**САДЛЕР** (Sadler) *Майкл-Томас* (1780—1835) — член английского парламента, радикал; противник теории народонаселения Мальтуса — 78, 79.  
**СЕНИОР** (Senior) *Нассау-Вильям* (1790—1864) — английский вульгарный экономист; профессор политической экономии в Оксфорде — 77.  
**СЕН-СИМОН** (Saint-Simon) *Клод-Анри* (1760—1825) — великий французский социалист-утопист — 167.  
**СИСМОНДИ** (Sismondi) *Жан-Шарль-Леонард-Симон, де* (1773—1842) — швейцарский экономист, мелкобуржуазный критик капитализма — 29, 55, 58, 111.

**СМИТ** (Smith) *Адам* (1723—1790) — знаменитый английский экономист, один из основоположников английской классической буржуазной политической экономии — 27, 36, 37, 39, 47, 70, 106, 110, 111, 118, 120, 130, 154.

**СТИУАРТ** (Steuart) *Джеймс* (1712—1780) — английский буржуазный экономист, представитель позднего меркантилизма. «Первый британец, выработавший общую систему буржуазной экономии» (*Маркс*) — 130.

**СЭЙ** (Say) *Жан-Батист* (1767—1832) — французский экономист, основоположник вульгарной буржуазной политической экономии — 29, 37, 48, 75, 110, 111.

## Т

**ТОМПСОН** (Thompson) *Вильям* (1783—1833) — английский социалист-рикардианец, последователь Оуэна — 7, 20, 59.

**ТУК** (Tooke) *Томас* (1774—1858) — английский экономист. «Последний сколько-нибудь значительный экономист» (*Маркс*) — 77.

**ТЬЕР** (Thiers) *Луи-Адольф* (1797—1877) — французский буржуазный историк и политический деятель; палач Парижской коммуны — 172.

## У

**УАЙТ** (Wyatt) *Джон* (1700—1766) — английский изобретатель, усовершенствовавший прядильную машину — 120.

## Ф

**ФЕЙЕРБАХ** (Feuerbach) *Людвиг* (1804—1872) — выдающийся немецкий философ-материалист, подвергший критике идеализм Гегеля. Недостатки философии Фейербаха вскрыты Марксом и Энгельсом в «Немецкой идеологии» и Энгельсом в его работе «Людвиг Фейербах» — 167.

**ФЕРГЮСОН** (Ferguson) *Адам* (1723—1816) — английский философ, историк и экономист, предшественник А. Смита в учении о разделении труда — 111.

**ФИЛИПП I** (1052—1108) — французский король (1060—1108) — 72, 73.

**ФОШЕ** (Faucher) *Леон* (1803—1854) — французский экономист; министр внутренних дел при Наполеоне III — 143.

**ФУРЬЕ** (Fourier) *Шарль* (1772—1837) — великий французский социалист-утопист — 124, 145, 150, 161, 167.

## Ш

**ШВЕЙЦЕР** (Schweitzer) *Жан-Батист* (1833—1875) — франкфуртский адвокат и писатель; после смерти Лассалья — вождь лассальянцев; в 1864 г. основал газету «Социал-Демократ» — 5, 167.

**ШЕРБЮЛЬЕ** (Cherbuliez) *Антуан-Элизе* (1797—1869) — швейцарский экономист, сторонник Сисмонди, мелкобуржуазный критик капитализма — 138.

**ШТОРХ** (Storch) *Генрих-Фридрих*, фон (1766—1835) — экономист и статистик; критик меркантилизма — 33.

## Э

*ЭДМОНДС* (Edmonds) *Томас-Роу* (1803—1889) — английский экономист — 7, 59.

*ЭЙЗЕНБАРТ* (Eisenbart) *Иоганн* (1661—1727) — прусский врач, окулист и хирург, известный шарлатан — 16.

*ЭНГЕЛЬС* (Engels) *Фридрих* (1820—1895)—20, 40, 43, 67, 96, 124, 145, 148, 163.

## Ю

*ЮР* (Ure) *Эндрью* (1778—1857) — английский вульгарный экономист, апологет капитализма, «избранный прислужник буржуазии» (*Энгельс*) — 120, 122.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	<i>Стр.</i>
<i>От Института Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б)</i> . . . . .	3
Предисловие к первому немецкому изданию . . . . .	5
Предисловие ко второму немецкому изданию . . . . .	20
 <b>К. Маркс. Нищета философии.</b> <b>Ответ на «Философию нищеты» г. Прудона.</b>	
Предисловие . . . . .	23
<i>Глава первая. НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ</i> . . . . .	25
§ I. Противоположность потребительной стоимости и меновой стоимости . . . . .	25
§ II. Конституированная стоимость, или синтетическая стоимость . . . . .	36
§ III. Применение закона пропорциональности стоимости . . . . .	68
А. Деньги . . . . .	68
В. Излишек труда . . . . .	76
<i>Глава вторая. МЕТАФИЗИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ</i> . . . . .	88
§ I. Метод . . . . .	88
Замечание первое . . . . .	89
Замечание второе . . . . .	93
Замечание третье . . . . .	94
Замечание четвертое . . . . .	95
Замечание пятое . . . . .	97
Замечание шестое . . . . .	99
Замечание седьмое и последнее . . . . .	103
§ II. Разделение труда и машины . . . . .	109
§ III. Конкуренция и монополия . . . . .	123
§ IV. Собственность или рента . . . . .	131
§ V. Стачки и рабочие коалиции . . . . .	142

## Приложения

Письмо К. Маркса П. Анненкову . . . . .	150
Ф. Энгельс. Прудон . . . . .	163
О Прудоне ( <i>Письмо К. Маркса Швейцеру</i> ) . . . . .	167
<i>Указатель имен</i> . . . . .	175

---

Подготовители: *Б. Чернышев и М. Рыльский.*

---

Подписано к печати 21/IV 1941 г. А 37247. Тираж 100 тыс. экз. Печ. л. 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

(37 312 тип. зн. в 1 п. л.). Авт. л. 10<sup>3</sup>/<sub>4</sub>.

Заказ № 1435

Цена 1 р. 15 к.

---

3-я типография «Красный пролетарий» ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфиниинга»  
Москва, Краснопролетарская, 16.